

Елизавета Кишкина

# ИЗ РОССИИ В КИТАЙ

## ПУТЬ ДЛИННОЮ В СТО ЛЕТ



«История страданий и любви  
долговечнее, чем политика...»

Елизавета Кишкина

**Из России в Китай.**  
**Путь длиною в сто лет**

Международная издательская компания «Шанс»

2013

УДК 82-94  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

**Кишкина Е. П.**

Из России в Китай. Путь длиною в сто лет / Е. П. Кишкина —  
Международная издательская компания «Шанс», 2013

ISBN 978-5-907015-46-3

Воспоминания Е.П. Кишкиной – это история разорения дворянских гнезд, история тяжелых лет молодого советского государства. И в то же время это летопись сложных, порой драматических отношений между Россией и Китаем в XX веке. Семья Елизаветы Павловны была настоящим "барометром" политической обстановки в обеих странах. Перед вами рассказ о жизни преданной жены, матери интернациональной семьи, человека, пережившего заключение в камере-одиночке и оставшегося верным себе. Издание предназначено для широкого круга читателей.

УДК 82-94  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-907015-46-3

© Кишкина Е. П., 2013  
© Международная издательская  
компания «Шанс», 2013

# Содержание

К российскому читателю	6
Часть первая	8
Глава 1	8
Глава 2	20
Глава 3	29
Конец ознакомительного фрагмента.	37

# **Елизавета Кишкина**

## **Из России в Китай: путь длиною в сто лет**

© Кишкина Е.П. (Ли Ша), 2018

© Ли Иннань, научный редактор, 2018

© Гао Ман, художник-каллиграф, 2018

© ООО «Международная издательская компания «Шанс», оформление, 2018

## К российскому читателю

Эта книга рождалась долго. Где-то в начале 90-х годов прошлого (да, уже прошлого) века я почувствовала желание рассказать о своей жизни и села за пишущую машинку. (Компьютером я, к сожалению, так и не овладела.) Писала исподволь, понемногу: отвлекали дела, работа. Тогда я еще преподавала и вела активный образ жизни. За несколько лет вчерне написала первую часть повествования.

В 1995 году в нашем доме появился старый знакомый, французский журналист Патрик Леско. Его давно уже поразил временной и географической охват моей жизни, которая прошла сквозь важнейшие потрясения XX века. Он стал брать у меня пространственные интервью на французском языке. Через два года на их основе выпустил книгу “L’empire rouge” («Красная империя. Москва – Пекин, 1919–1989»), стержнем которой стала история двух семей – моя с мужем Ли Лисанем и его друга Чжан Бао, женатого на Надежде Руденко. Книга вызвала интерес не только во Франции, она была переведена на многие европейские языки. В США вышло ее сокращенное издание под названием “Before Mao” («До Мао Цзэдуна»).

Конечно, мне была приятна такая известность: я радовалась не столько за себя, сколько за Ли Лисаня, имя которого так долго очерняли. Леско же описал его как «пламенного предшественника Мао». Очень хотелось, чтобы обо всех событиях, в которые мы с Ли Лисанем были вовлечены, узнали в Китае и в России – в двух странах, с которыми связана вся моя жизнь. Я решила довести писательский труд до конца, хотя возраст давал о себе знать. В начале 1996 года я серьезно заболела, работать стало трудно. И тут на помощь пришла моя старшая дочь Инна: вдохновленная примером Патрика, она записала вторую часть моих рассказов на магнитофон, дополнила всю книгу архивными материалами, обработала и перевела ее на китайский язык.

Весной 2009 года, к моему девятилетию, книгу опубликовали в Китае. Состоялась большая презентация в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь, на которой присутствовали посол России в Китае С. С. Разов и посол Китая в России Ли Хуэй. Рядом со мной сидел замминистра образования, бывший ректор нашего Университета иностранных языков Хао Пин, во многом поспособствовавший выходу книги в свет. А в заполненном зале я различала сотни знакомых лиц, светлые дружеские улыбки. Море цветов, теплые искренние слова поздравлений... Для меня это был незабываемый день.

И снова большая работа по подготовке русского издания. Ведь это не просто один и тот же текст на разных языках. Прожив столько лет в Китае и прочувствовав на себе разницу двух культур, я понимала, что русскому читателю будет интересен иной ракурс, иные детали, нежели китайскому. Так, в той версии, которая лежит перед вами, первые главы, посвященные моему детству, значительно переработаны, дополнены не только моими воспоминаниями, но и материалами из архивов большого семейства Кишкиных, за что я очень благодарна моим родным и любимым Н. О. Скачковой, Е. А. Корнилович и, к сожалению, уже покойной Н. Б. Семихатовой. Во второй части книги больше внимания уделяется русской эмиграции в Китае, повседневной жизни китайской политической элиты, особенностям быта и поведения китайцев. Сейчас, когда в России растет интерес к этой большой поднимающейся стране, полагаю, что эти детали, как и книга в целом, помогут внимательному читателю углубиться в китайскую жизнь, лучше понять историю и менталитет народа, во многом не похожего на нас, русских, но так же, как и мы, испытавшего на себе нескончаемые беды и тяготы XX века. Думаю, что читатель увидит, насколько близки в этом отношении наши страны, как крепко повязаны их судьбы.

Заканчивая работу над книгой в преддверии своего столетия, я могу только сказать: «Наконец-то!». Наконец-то книга моей жизни увидит свет у меня на Родине, и российский

читатель услышит мой голос на русском языке. Хорошо ли, плохо ли звучит мое повествование – судить вам, а не мне. Но я старалась быть искренней, не приукрашивать, не искажать действительность, передавая ее так, как она отпечталась в моей памяти.

На Историю не обижаются. И я не в обиде за все, что она заставила меня пережить. Както раз мой внук Дима спросил меня: «Если бы была такая возможность – нажать кнопку, прокрутить все назад и вернуться в детство, что бы ты изменила в своей жизни?» – Я не задумываясь ответила: «Нет, я бы не нажала никакой кнопки и ничего не стала бы менять». Я прожила жизнь так, как предназначено было судьбой, прошла этот долгий путь не оступившись, не сделав подлости. Мне кажется, что это самое главное для человека.

И в заключение – слова глубокой благодарности всем, кто работал над этим изданием, всем, кто дружеской поддержкой ускорил его появление на свет. Благодарность всем моим родным, близким, всем друзьям, которые своей любовью продлевают мне жизнь. Я рада, что могу подержать в руках эту книгу: мечта моих долгих лет сбылась.

*Е. П. Кишкина (Ли Ша) Июнь 2013 г.*

## **Часть первая В России**



### **Глава 1 Усадебное детство**

Появление мое на свет состоялось лишь благодаря случайному стечению обстоятельств. Моей матери не хотелось рожать еще одного ребенка, и не только потому, что ей было уже 37

лет – на то была еще и другая причина. За девять верст по осенней распутице мама поехала к акушерке, но та оказалась в отъезде, ждать ее возвращения пришлось бы несколько дней. И эта простая случайность решила мою судьбу.

Я родилась ранней весной, в марте 1914 года, в степной Саратовской губернии, в деревне со звучным названием Студенка, которое ей дала тамошняя мелководная речка с кристально чистой водой, на берегах которой по сию пору водятся бобры. Вытекала она из озер с подводными ключами и несла их студеною воду дальше. Никаких лесов вокруг – одни лишь бескрайние, простирающиеся до самого горизонта поля с плодородной, черной, как деготь, землей. С детства я полюбила просторы, и чувство это живет во мне до сих пор. Мне нравятся необозримые поля, морские дали и даже ширь городских проспектов и площадей.

Дом, в котором я родилась, одноэтажный, с облупившейся штукатуркой (таким он остался в моей памяти), фасадом был обращен на проезжую дорогу. Какое было удовольствие для меня и моих деревенских подружек бегать по этой дороге, когда летом ее покрывала доходившая нам до щиколоток пыль, мягкая, как пуховая перинка. Маму приводил в ужас мой вид после такой забавы. «Только я тебя искупаю, переодену во все чистое и отпущу гулять, как слышу, мне кричат: “Прасковья Михайловна, поглядите, что ваша Лиля (так меня называли в детстве) делает!” Приходится снова сажать тебя в корыто», – рассказывала мама.

За проезжей дорогой расстилался луг, где весной, на Пасху, деревенские парни и девушки по издавна заведенному обычаю катали крашеные пасхальные яйца. По одну сторону от луга находились дворовые постройки: кухни, птичник, а по другую – каменное строение под черепичной крышей – большой ледник, который к весне доверху набивали льдом. Мягкую зеленую травку на лугу любили щипать гуси, потому, наверное, ее и называли «гусиной». Зимой там устраивали ледяные горки, с которых катались не на санках, а, как было принято в саратовских краях, в решете. Для этого решето готовили: обмазывали навозом и обливали водой, затем выставляли на мороз и ждали, когда обледенеет. Вот импровизированные санки и готовы. Постелив на дно решета солому и какое-нибудь тряпье, мы лихо неслись на нем с горки – аж дух захватывало!

В детстве, помню, на зеленом лужку со мной приключилась пугающая история. Я, как обычно, играла с подружками, а неподалеку под присмотром своего жоака мирно щипали травку гуси. Вдруг мне, не знаю почему, захотелось их подразнить. С хворостиной в руках я храбро двинулась к ним. Но не успела подойти, как старый гусак, разгадав мое намерение, вытянул шею и, угрожающе зашипев, налетел на меня, голоногую, стал больно-пребольно щипаться. От растерянности я даже забыла, что могу обороняться хворостиной, и отчаянно завопила. Разъяренного гусака отогнали. С тех пор я долгое время боялась гусей и с опаской обходила их. Индюков тоже избегала – уж очень вид у них был устрашающий.

А еще были быки. В моей зрительной памяти – кстати говоря, очень хорошей – до сих пор встает живая картинка: мне было года три – четыре, когда старшие взяли меня на речку купаться. Спустились по тенистой аллее сада, через калитку вышли на тропинку, которая вела через заливной луг к купальне. Обычно тихая и мелководная, речушка Студенка каждую весну в половодье выходила из берегов и заливала луг. Трава там вырастала густая и сочная, и на этой луговине пасся скот. И в тот раз, когда мы, проходя через луг, были уже на полдороге к цели, от стада отделился бык. Наклонив голову и выставив вперед рога, он бросился к тропинке – опасность была велика. Подхватив меня на руки, взрослые пустились во всю прыть к спасительному убежищу – купальне. Тут только перевели дух. А зловредная скотина остановилась, как бы недоумевая: «Куда ж это все подевались?» К счастью, тут и пастух подоспел. Долго потом у нас дома гадали: с чего бы это бык так расвирепел? И решили, что виновата я: на мне было красное платьице, а красный цвет, как принято думать, раздражает быков до безумия.

Задняя сторона нашего дома, с открытым балконом во всю длину стены, выходила в сад. В этом саду я сначала лежала в детской коляске, а став постарше, с утра до вечера бегала

там, лакомилась ягодами и фруктами. Сад был огромный – одиннадцать десятин. На то, чтобы обойти его кругом, требовался целый час. Там были куртины яблонь и груш, росли вишни, сливы, крыжовник, малина и смородина – словом, все, чему и полагалось произрастать в русской помещичьей усадьбе. От балкона вела вниз к речке широкая тенистая аллея. Повсюду росли огромные кусты сирени, и я на всю жизнь полюбила ее душистые гроздья, спускавшиеся в нашем саду до самой земли. Когда у русских классиков, у Тургенева или Бунина, я читаю описание дворянских гнезд, перед глазами встают картины, запечатлевшиеся в памяти с раннего детства.

Усадьба в Студенке не была родовым имением моего отца, она досталась ему с приданным первой жены, Софьи Николаевны Струковой. Основатели усадьбы, саратовские помещики братья Струковы, взяли на воспитание свою племянницу Софью, осиротевшую в восемь лет. Ей они и завещали свое имение. Сами братья, Яков и Сергей Струковы, переселились сюда между 1845 и 1850 годами. Они построили дом, который позже стал гнездом Кишкиных, и заложили сад. Перевели из родового поместья в селе Трубецком Балашовского уезда крепостных крестьян, которые начали осваивать здешние плодородные земли. Престольным праздником в новой деревне Студенке стал Михайлов день – по названию церкви в Трубецком. Видимо, в этот период быстро заселялись и распахивались саратовские земли: рядом со Студенкой выросли деревни Ивановка, Журавка, Лобановка, принадлежавшие князьям Лобановым-Ростовским.

Мой брат Володя и я, родившиеся от другого брака, по закону никаких прав на Студенку не имели. Лично моему отцу Павлу Семеновичу принадлежало триста десятин земли в Тамбовской губернии. По российским понятиям того времени это было немного. Вот эту свою личную землю отец и записал на маму и на меня с братом Володей. А студенковские восемьсот десятин должны были перейти струковским наследникам – моим единокровным сестрам и брату Сергею.

Отец мой, Павел Семенович Кишкин, происходил из семьи потомственных дворян, так называемых столбовых. О Кишкиных в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона есть такая запись:

*«Кишкины – русский дворянский род, предок которого, Асенбех Кишка, по сказанию древних родословцев, выехал из Польши в конце XIV в. Двое Кишкиных были убиты в “Московское разорение”, двое – под Ляховичами (1655) и один – под Конотопом (1659); несколько Кишкиных были в XVII в. воеводами и стольниками. Этот род Кишкиных внесен во II часть родословной книги Владимирской губернии. Один род Кишкиных восходит к концу XVI в. (Гербовник, VIII, 26), два – к первой половине XVII в., а остальные семь родов – позднейшего происхождения».*

В Алфавитном указателе фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах, действительно можно найти имена многих Кишкиных – стольников и стряпчих. Так, двое из них – Михаил Тимофеевич и Юрий Иванович – в году эдак 7200 по старому летоисчислению<sup>1</sup> служили при царице Прасковье Федоровне, жене царя Ивана Алексеевича, брата Петра Первого.

Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского» пишет о донском атамане, боярском сыне Иване Кишкине. Имя его упоминается в 1584 году в переписке русского царя Федора Иоанновича с турецким султаном. Иван Кишкин не раз выполнял распоряжения Посольского приказа, сопровождая и охраняя русские посольства, двигавшиеся по Дону, за что казаки получали деньги, снаряжение и провиант от русского царя. Грамотой от 30 сентября 1585 года Федор Иоаннович самого атамана и его казаков «за их службы жаловал великим своим жалованием да поместья велел подавати».

Как водится в дворянском сословии, в роду Кишкиных бытовали предания о происхождении фамилии. Были они разноречивы. Запись в Энциклопедическом словаре Брокгауза и

<sup>1</sup> 1692 год. – Здесь и далее примечания редактора, если не указано иное.

Эфрона, кстати, доставила немало огорчений брату Сергею, так как кто-то из одноклассников, вычитав ее, распустил слух по гимназии, и брата стали дразнить Ассенбах Кишка<sup>2</sup>. Прозвище так въелось, что и шестьдесят лет спустя Сергей Павлович получал письма от товарища с обращением Ассенбах.

Рассказывали также про некоего Ивана Кишку, будто бы служившего истопником при Иване Грозном, и про итальянского аристократа Киссини, приехавшего на Русь в свите Софьи Палеолог и под воздействием народной этимологии превратившегося в Кишкина. Так это или не так, думаю, проверить уже невозможно. Одно можно сказать с уверенностью:

*«Фамилии Кишкиных Российскому Престолу служили дворянския службы в разных чинах и в 7107/1599 и в других годах верстаны были поместными окладами. Все сие доказывается справками из Архива».*

Так записано в «Общем гербовнике Российской империи», и там же приводится герб рода Кишкиных:

*«Щит разделен от верхних углов диагонально к середине щита и перпендикулярно вниз на три части, из коих в верхней в голубом поле изображен золотой крест, в правом красном поле крестообразно положены серебряная секира и карабин. В левом золотом поле находится крепость красного цвета с двумя башнями, на коих означен стоящий лев, обращенный в правую сторону. Щит увенчан дворянским шлемом и короною, на которой видна согбенная в латах рука с мечом. Намет на щите голубой и красный, подложенный золотом».*

Про бабушку мою Елизавету Михайловну говорили, что она из рода Скопиных-Шуйских, корни которого уходят в далекую древность. Но по некоторым новым исследованиям это совсем другие Скопины, из мелкопоместных дворян. Про Семена Ананьевича Кишкина, родившегося в 1795 году, доподлинно известно, что он в 1814 году поступил на военную службу в Оренбургский уланский полк, служил на Кавказе, участвовал в сражениях. Был награжден орденами Св. Владимира (шейным) и Св. Анны (грудным). В 1830 году «уволен за ранами в чине майора», после чего вернулся к себе в деревню Хмелевку, которая находилась в Кирсановском уезде Тамбовской губернии. В Студенке сохранилось бюро, доставшееся в наследство от Семена Ананьевича, и уже при Советской власти мои родственники обнаружили под вставным кубом с ящиками невесть когда попавшую туда серебряную медаль участника Крымской войны, покоренную пулевым ударом. Но кого спасла эта медаль от смерти, выяснить не удалось. Тайна осталась тайной. Теперь эта медаль хранится в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве среди прочих студенковских реликвий, которые передала в музей вдова моего племянника, известного литературоведа Льва Сергеевича Кишкина.

Так что Семен Ананьевич для нашей кишкинской ветви фигура уже не мифическая, а историческая. В студенковской гостиной висели его портрет и портрет его жены Елизаветы Михайловны. Женился он уже в отставке, в возрасте 45–50 лет. За время брака Елизавета Михайловна родила ему семнадцать детей, из которых в живых осталась половина. Дети прибавлялись ежегодно, даже два раза в году – так получилось с моим отцом, которого бабка не доносила, и он увидел свет в тот же год, что его брат Петр. Отец был с ним особенно дружен. У нас до последнего времени сохранился памятный настольный сувенир из зеленого кварцевого стекла с дарственной надписью. Петр Семенович преподнес его отцу в бытность свою управляющим Мальцевским стекольным заводом.

Семен Ананьевич к детям относился строго, но без чрезмерности. Рачительно вел хозяйство. Помимо Хмелевки он приобрел имение Курдюки, где у него было двести крепостных душ, и еще другие окрестные земли: деревни Оржевку, Кондаурово, Лопатино. Несмотря на ранения, Семен Ананьевич прожил долгую жизнь и умер в 80-х годах XIX столетия в преклон-

---

<sup>2</sup> Написание прозвища дано по воспоминаниям С.П. Кишкина. Здесь и далее орфография и пунктуация дневниковых записей, писем и архивных документов сохраняется.

ном возрасте. Каждый из оставшихся в живых сыновей получил в наследство по несколько сот десятин земли. Родовое имение Курдюки досталось старшему – Михаилу Семеновичу.

Михаил Семенович, родившийся в 1832 году, несомненно, был колоритной фигурой. Рассказывают, что в его доме долго сохранялись патриархальные традиции и обстановка быта крепостных времен. На старости лет он любил повторять инсценировку из последних дней жизни Семена Ананьевича: его сажали в отцовское кресло и так же несли по саду в беседку, причем это велено было делать тем же людям – бывшим казакам Семена Ананьевича. В беседке с разноцветными стенами висели вещи, принадлежавшие Семену Ананьевичу, в том числе его старая кавказская нагайка, которую использовали, как и встарь, для наказания прислуги и детей. За легкую вину ее нюхали, а за сильную – получали удары. «Эту нагайку за разбитое стекло нюхнул и я и должен был получить и больше, но спасло меня заступничество мамы, которую Михаил Семенович любил и уважал», – вспоминал мой брат Сергей Павлович.

К Михаилу Семеновичу, как к старшему в роду, братья Кишкины раз в год возили на поклон своих детей. Уже обосновавшийся в Студенке Павел Семенович вместе с Софьей Николаевной брали сына Сережу и дочерей, садились в два тарантаса, запряженных тройками с колокольчиками, и по степным дорогам катили за 120 верст в Курдюки.

По настоянию Михаила Семеновича, в день столетия Семена Ананьевича, 16 апреля 1895 года, в родовом имении собралось все многочисленное потомство Кишкиных: около восьмидесяти человек не дальше двоюродного родства. Отслужили торжественную обедню в местной церкви, а затем все внуки и правнуки Семена Ананьевича были записаны в племянную книгу, и к родовому дереву, запечатленному на одной из стен дома, были подрисованы новые ветви и веточки.

Древо Кишкиных зеленело и разрасталось. (Кстати, от одной из ветвей его произошел выдающийся дирижер нашего времени Евгений Светланов, который приходится правнуком Михаилу Семеновичу.) Но если мой прадед, дед и старшие дядя были военными, то многие молодые Кишкины в соответствии с новыми веяниями становились врачами, профессорами. Владимир Семенович, окончивший с отличием Императорскую Военно-медицинскую академию, основал детскую больницу в Саратове. Николай Семенович, создатель клиники на Пироговке в Москве (ныне 1-я пропедевтическая больница)<sup>3</sup>, стал профессором Московского университета на кафедре врачебной диагностики, но был уволен за либерализм в 1913 году по распоряжению министра просвещения Льва Кассо. Сестра Мария Семеновна ушла медсестрой на Русско-турецкую войну 1877–1878 годов и вышла замуж за врача Ивана Федоровича Иванова, который возглавлял благотворительную лечебницу на Хитровом рынке в Москве.

Павел Семенович тоже поступил было в Московский университет на медицинский факультет, но, проучившись пару лет, понял, что медицина – не его призвание, и перешел на юридический, который закончил со званием действительного студента<sup>4</sup>. Вскоре он женился на Софье Струковой (обстоятельства их знакомства предание не сохранило) и, покинув Москву, обосновался в Студенке.

По воспоминаниям брата, в Студенке дом был небольшим – семь комнат с залом. (Позже отец мой пристроил еще пять комнат и большие сени из ветел, росших по руслу старой реки внизу сада, а также устроил в доме теплый ватерклозет, что было по тем временам большим новшеством. В ватерклозете заботами его сестры Надежды Семеновны поддерживалась образцовая чистота и даже стоял озонатор, источавший нежнейший аромат. Это было мое любимое место.) В саду имелась также оранжерея, где купленный еще Яковом Степановичем садовник развел персики и голые арабские абрикосы, славившиеся на весь уезд.

---

<sup>3</sup> Елизавета Павловна запомнила Н. С. Кишкина как создателя клиники, однако он был преемником (1902–1919) и учеником первого ее заведующего М. П. Черинова (1874–1902). Сейчас это Клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В. Х. Василенко, подразделение Клинического центра Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

<sup>4</sup> Выпускник, окончивший университет без отличия (с отличием – кандидат).

«Выйдя в зятя», Павел Семенович увлекся культуртрегерством и просветительской деятельностью. Построил школы в Студенке и соседнем селе Турки, основал кирпичный завод, снабжавший кирпичами окрестные деревни, и постарался превратить имение в образцовое хозяйство. Первым в округе завел паровую молотилку и механическую сенокосилку, специально пригласив для их обслуживания механика из города. В усадебном саду появились прекрасные породы фруктовых деревьев. Сорты яблок и груш там были замечательными и для тех краев очень редкими. Отборные яблоки, груши и вишни поставлялись даже в Москву, в магазин Елисеева.

Студенка процветала. Отец, имевший чин статского советника и исполнявший в уезде выборную должность мирового судьи, пользовался авторитетом и был человеком справедливым, его уважали и обращались к нему за помощью, в том числе и крестьяне. Он, не скупясь, давал займы деньги, арендную плату с крестьян брал самую низкую, за что окрестные помещики имели на него зуб. Зачастую он и вовсе отказывался брать плату с неимущего арендатора. В имение к Павлу Семеновичу охотно нанимались батраки. В 1905 году, когда по всей Саратовской губернии полыхали помещичьи усадьбы, из соседней мордовской деревни Шитневки на Студенку пошли озлобленные мужики, но местные крестьяне, вооружившись вилами и топорами, встретили эту орду у мостика через речку и отстояли своего барина, не дали поджечь и разграбить имение. Отец в благодарность открыл амбары и роздал крестьянам зерно.

Может быть, поэтому несмотря на то, что отец был рачительным хозяином и хозяйство вел на научной основе, имение не приносило больших доходов, и богатств накоплено не было. На мой взгляд, отца можно было бы отнести к типу помещика вроде Левина, которого описал Л. Н. Толстой. Все сказанное мною о Павле Семеновиче – не голословные суждения, а факты, которые я узнала со слов матери. Относилась я к ним тогда с недоверием, более того, с сомнением: разве эксплуататор-помещик мог быть таким, почти идеальным? В советской школе про помещиков говорили совсем другое. И вообще, свое происхождение я искренне считала позорным, стыдилась и старательно умалчивала о нем.

Поэтому совершенно неожиданным оказалось для меня отношение жителей Студенки, которую я после многих лет посетила в 1993 году. Повез меня туда земляк Гурий Иванович Макаркин, крестьянский сын, старший брат которого учился в земской школе, где давали уроки и мои старшие сестры. Уроки иногда проходили прямо на террасе усадьбы. Гурий Иванович тепло вспоминал о семье Кишкиных, о том, что благодаря им брат смог получить образование и позднее, закончив университет, стать одним из конструкторов Крымского моста в Москве. Патриот Студенки, Гурий Иванович прямо настоял на том, что мне необходимо съездить в родные места (я, честно говоря, опасалась: как встретят «униженные и угнетенные» дочку их «эксплуататора»). Макаркин быстро организовал поездку, мы поехали вместе. Меня сопровождали дочь Инна, внук Дима и внучатая племянница Наташа Скачкова.

Проехав поездом до Балашова, затем автобусом по шоссейной дороге, мы высадились прямо посреди степи, в чистом поле. Здесь нас уже ждала крестьянская подвода. Возничая Лариса, женщина среднего возраста, ударила кнутом, и лошадь понеслась по неровной степной дороге. Время от времени женщина щелкала кнутом и покрикивала: «Давай, Анюта, давай! Ты знаешь, кого везешь? Ты барских детей везешь!» – «Издевается она, что ли?» – недоуменно подумала я. Как выяснилось, не издевается. Лариса повела нас по деревне, уважительно представляя соседям: «Это вот младшая дочь Павла Семеновича». Люди приветливо улыбались, а старушка Марья Иосифовна, в доме которой мы остановились, по старинке даже поцеловала меня в плечо, как было принято при встрече с господами. «Барышня приехала!» – разнеслось по деревне. Оказалось, Павла Семеновича жители Студенки помнят и любят – любят со слов своих родителей и дедов. Люди пересказывали истории, оставшиеся в памяти, принесли мою детскую фотографию, сохранившуюся у внучки моей няньки. Привели девяностолетнего ста-

рика, сына усадебного кузнеца, который в детстве играл со мной во дворе и помнил меня белокурой, с кудрявыми волосиками.

Но особенно запомнилось посещение соседней деревни Чернавки, где раньше находилось родовое кладбище Струковых и Кишкиных. Здесь у селпо на солнышке грелись старухи. Когда Инна и Наташа подошли к ним, они полюбопытствовали, кто приехал. Узнав, что дочь Павла Семеновича Кишкина, самая старая из них (ей уже был 101 год!) двинулась мне навстречу, и, только я слезла с телеги, как она привычным движением быстро наклонилась к моей руке (откуда только ловкость взялась?) и приложила к ней. Я была потрясена: так мне руку никто не целовал!

Ольга Николаевна (так звали эту женщину) сохранила прекрасную память и рассказала, что служила горничной у помещика Полянского, которому принадлежала Чернавка, и часто видела моего брата Сергея Павловича, приезжавшего погостить и поохотиться. Павла Семеновича встречала в церкви с дочерьми. «Барин был видный такой, в шубе с бобровым воротником». А взглядевшись в мою дочь Инну, прямо ахнула: «Гляди-ка, глаза у нее совсем как у девок кишкинских!»

Словно и не проносились здесь бури революции, гражданской войны, коллективизации – слова «барин», «барышня» сохранили свой уважительно-любовный оттенок.

Но вернемся к прерванной нити моего повествования.

Отца я плохо помню, но он оставил мне в наследство свою яркую внешность. Бытует семейное предание, будто прадед мой, якобы в екатерининские еще времена, привез полонянку из турецкого похода, от нее-то и пошли у нас в роду смуглые, восточного типа потомки. Возможно, что это всего лишь красивая легенда. Но по уцелевшим старинным фотографиям видно, что отец мой внешне несколько не походил на русского: темноглазый, черноволосый, с круто вьющейся пышной шевелюрой. Его нередко принимали за армянина. Кудрявость была отличительной чертой этой ветви Кишкиных. Может быть, и впрямь от этой турчанки, как у Мелеховых в «Тихом Доне». И сестры мои пошли в отца.

Другая ветвь Кишкиных, по линии Кирилла Ананьевича, брата моего дедушки, восточными чертами не отличалась. Моя мать Прасковья Михайловна, которая приходилась моему отцу родственницей, двоюродной племянницей, имела типично русскую внешность: светлые волосы, небесно-голубые глаза. Ее отец, Михаил Кириллович Кишкин, был человеком бедным. Когда-то у его отца Кирилла Ананьевича был небольшой земельный участок близ Кондаурова в Тамбове, но после 1861 года тот продал землю брату Семену и стал служить в Тамбове. Михаил Кириллович тоже служил по какому-то ведомству в ранге коллежского регистратора в Тамбове, а жена его, моя бабка, происходила из поповской семьи. Михаил Кириллович, говорят, изрядно выпивал и никакого имущества не нажил. На старости лет пришлось ему стать приживалом у Павла Семеновича. Поселили его в усадебном саду, в сторожке-избушке, которую специально для него построили.

Прасковья Михайловна, рано лишившаяся матери, попала в приют мадам Тарлецкой, куда ее устроили богатые родственники. Приют этот находился в угловом доме на Манежной площади в Москве, прямо напротив Кремля. Окна приюта выходили на Моховую (теперь можно было бы сказать – на Государственную библиотеку). Много позже, после Октябрьской революции, в этом здании разместился Коминтерн, и там работал мой муж. Такие вот бывают гримасы истории!

В приюте моя мама получила шестилетнее образование, обучилась кройке и шитью, как все воспитанницы. Но мама, помнится, часто сетовала на своих родственников-опекунов за то, что они не отдали ее в какой-нибудь другой приют, где она могла бы получить образование получше. «Пожалели денег, поскупились», – прибавляла она при этом. Приюты в царское время были платными. Мама не любила свое ремесло портнихи, но оно-то и определило ее судьбу.

После выхода из приюта Прасковья направилась в Студенку, к отцу, да так там и осталась. Она стала всех обшивать и помогать по хозяйству, выполняя роль экономки. Павел Семенович к тому времени уже овдовел, и хозяйство вела его сестра Надежда Семеновна, переехавшая к нему из Москвы. Так и оставшаяся в девицах, она долго жила в семье брата в Студенке и была там полновластной хозяйкой, строго наблюдая за порядком в усадьбе. По рассказам мамы и брата Сергея, это была весьма своеобразная, сильная натура. Нрав у нее был крутой. Прислуга перед ней трепетала и беспрекословно ей повиновалась, но любить не любила. Как-то раз, когда горничная примеряла ей платье и что-то сделала не так, Надежда Семеновна в гневе схватила ножницы и отрезала ей косу. Об этом люди в Студенке помнили даже спустя девяносто лет!

Сергей Павлович пишет, что у Надежды Семеновны в ранней молодости случилась личная трагедия: ее жених накануне свадьбы вышел в сад с ружьем и, найдя какую-то яму, зачем-то решил измерить ее глубину ружьем. Зацепил курок и нечаянным выстрелом попал себе в грудь. Нелепая мучительная смерть жениха так повлияла на тетю Надю, что она стала немного ненормальной и на всю жизнь осталась в девицах.

Надежда Семеновна подняла на ноги всех старших детей отца. Не знаю, как они отнеслись к появлению в усадьбе нового женского лица, но имя Прасковья показалось им слишком простонародным, и маму они стали звать Полиной, Линой на французский манер. Белокурая миловидная девушка приглянулась вдовцу. Началась их тайная связь, продолжавшаяся долгие годы. Павел Семенович никак не мог решиться на мезальянс. Может быть, опасался возмездия своих уже взрослых детей и Надежды Семеновны.

Моя мама, по ее собственным словам, много от нее натерпелась. Когда я потом спрашивала маму, не вспоминает ли она о жизни в усадьбе, она с горечью говорила: «Эх, Лиза, о чем вспоминать? Если б ты знала, сколько слез я там пролила!»

Плодом этой связи были внебрачные дети, рождение которых держалось в тайне. Новорожденных сдавали в приюты, и они бесследно исчезали из семьи, терялись из виду. Об этом я узнала от других, сама мама мне ничего не рассказывала, даже словом не обмолвилась, видимо, это была ее боль, кровоточащая душевная рана. Знала я только о брате Володе, который был старше меня на девять лет. Мама поехала рожать в Москву, что для всех по-прежнему должно было держаться в тайне, а в действительности уподобилось секрету Полишинеля, но сердце материнское не выдержало: в приют она ребенка не сдала, а отвезла в город Каширу, недалеко от Москвы, где устроила на воспитание в семью рабочего-пожарника. Володя вырос у чужих людей. Взяли его домой только после того, как брак моих родителей был узаконен.

А произошло это так: мама долго терпела унижительное по тем временам сожительство, страдая от косых взглядов в семье, от пересудов. Связь слишком долго тянулась, чтобы оставаться тайной. Чаша терпения переполнилась, и, вернувшись от акушерки осенью 1913 года, мама взбунтовалась, поставила отца перед выбором: либо он на ней женится, либо она уйдет от него – ремесло портнихи обеспечит ей кусок хлеба. Павел Семенович сдался. И вот в тридцать семь лет мама встала под венец с человеком, которому было уже далеко за шестьдесят. Узаконенный брак позволил мне появиться на свет.

Следуя православному обычаю, меня крестили. Мама была истинно верующим человеком, а отец, по ее словам, нет. Родившийся в 1850 году, он принадлежал к тому поколению, которое увлекалось наукой и прогрессом. В церкви бывал только по большим праздникам, но и во время службы не слишком ревностно осенял себя крестом. Возможно, из-за весенней распутицы, когда дороги раскисают, родители решили не везти меня, новорожденную, за несколько верст в село, где стояла церковь, а пригласили священника совершить обряд крещения дома. Церковную купель заменила обычная крестьянская мера для зерна. Нарекли меня в честь бабушки со стороны отца – Елизаветой. Восприемниками при крещении были Виссарион Петрович Федоров (дворянин, агроном, как записано в метрическом свидетельстве) и

моя сестра Олимпиада. С семейством Федоровых, связанных с Кишкиными и Струковыми дружескими и родственными узами, я и мои дети поддерживаем контакты до сих пор.

Позднее у меня появился еще братишка, что было для меня неожиданно. Подвели меня, помню, к кроватке, в которой лежало похожее на куклу крошечное существо, красненькое личико его было величиной с кулачок. Мне сказали, что это мой братик Боря, что его нашли в огороде под капустным листом. (Так всегда раньше объясняли детям появление братьев и сестер.) Братик Боря не вызвал у меня ни большого восторга, ни особого интереса, скорее всего я почувствовала к нему ревнивую неприязнь, вероятно, подсознательную. Вскоре, не дожив до года, братишка умер. Исчезновение его прошло для меня незаметно, наверное, тогда я сама была слишком мала.

От первого брака у отца осталось шестеро детей: дочери Екатерина, Александра, Мария, близнецы Анна и Олимпиада и сын Сергей. Сестры получили прекрасное образование: Екатерина, Мария и Александра окончили Тамбовский институт благородных девиц (Шура – с шифром<sup>5</sup>, а Катя – с похвальной грамотой), Аня и Липа, закончив гимназию, даже ездили учиться в Сорбонну, в Париж. Брат Сергей после гимназии пошел по агрономической линии, окончил Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию, где учился вместе с Н. И. Вавиловым и А. В. Чаяновым. Работал уездным земским агрономом.

К моменту моего рождения все старшие дети были уже взрослыми, успели обзавестись семьями. Екатерина была самой красивой среди сестер, рассказывают, что на одном из балов в Саратове ее пригласил на танец сам император Николай Александрович. Но личная жизнь ее сложилась неудачно: первый брак Екатерины с офицером Иоахимом Радчевским распался, вторым браком она вышла замуж за князя Федора Михайловича Шаховского, одного из многочисленных Шаховских, который хотя и воспитывался у тетки Шаховской-Глебовой-Стрешневой в ее дворце в Покровском-Стрешневе, но потом сам зарабатывал себе на жизнь, будучи инженером и начальником железнодорожной дистанции на Юго-Восточной железной дороге. Жили они хорошо, но в 1916 году Федор Михайлович скоропостижно скончался от перитонита. Старшие Катинины дети благодаря тому, что их родной отец Радчевский был боевым офицером, смогли бесплатно получать образование: Лену приняли в Александровский институт благородных девиц в Москве, а Мишу – в 1-й кадетский корпус, размещавшийся в Лефортове. Кстати, туда же устроили и моего брата Володю. Мама сетовала, что он был отъявленным озорником и драчуном. В одной из боевых схваток лишил глаза своего противника.

Муж моей сестры Александры Анатолий Корнилович тоже был инженером, титулярным советником. Происходил он из дворянской семьи с польскими корнями, гордившейся своим родством с декабристом Александром Корниловичем. Сестра Анна связала свою жизнь с агрономом Томасом Зилесом, обрусевшим немцем, а Олимпиада стала женой Семена Ефимовича Линника, вице-губернатора Калужской губернии.

Жили все в разных местах, но часто слетались в родную Студенку, проводили там лето с детьми. Павел Семенович охотно принимал всех. С новым статусом моей мамы падчерицы смирились, а постепенно и вовсе с ней подружились. Только при упоминании о старшей падчерице Екатерине у мамы иногда, как мне казалось, приглушенно звучали неприязненные нотки. Отношения между ними, похоже, так и не сложились.

Я была в одних годах с моими племянниками и племянницами, а двое из них были даже старше меня намного. Мы росли вместе, проводя время в детских играх, и на всю жизнь у нас установились теплые родственные отношения. Нашим общим паролем, паролем нашего детства стало теплое название «Студенка». Увы, теперь большинства из моих сверстников уже нет в живых.

---

<sup>5</sup> Знак отличия в виде вензеля императрицы, выдававшийся институткам.

В студенковском доме жизнь кипела, всегда там кто-нибудь жил и гостил. Летом к отцу в имение съезжалась вся родня: тетки и дядья, его собственные дети с семьями, с мамками-няньками. Сад оживал, наполнялся звонкими детскими голосами. Я с другими ребяташками бегала повсюду. Мы забирались в малинник, рвали крыжовник и смородину, собирали яблоки-падалицу. В пору созревания вишен меня особенно соблазняли висевшие на тонких веточках крупные сочные ягоды. Вот бы их отправить в рот прямо с дерева! Но нет. С моим росточком их не достать. Нахожу выход: подпрыгиваю, хватаюсь за веточку, притягиваю пониже и прямо ртом срываю спелые вишни, предвкушая наслаждение. Но что это? Брр! Во рту вдруг возникает тошнотворный вкус полевого клопа. Долго отплеываюсь – удовольствие испорчено. Вдобавок вишневым соком закапано платье. Я понимаю, что от мамы влетит: сок ведь плохо отстирывается. Большая неприятность!

На огромной открытой веранде в четыре – пять часов дня по русской барской традиции совершались чаепития. А когда собирались гости на большой праздник, особенно на день святых Петра и Павла, столы накрывались в саду, в аллее, ведущей от дома к сторожке. Ставился большой самовар на белой скатерти.

В холодное время года гости рассаживались за большим столом в столовой с окнами, выходившими на цветник, где весной и летом благоухали алые и чайные розы. В отсутствие гостей нас, детей, сажали за общий стол со взрослыми. Хорошо помню, что я сидела на высоком детском стульчике спиной к простенку между окнами, где стояли напольные часы с мелодичным боем. Когда же приезжали гости, то нас усаживали отдельно. А так как отец был хлебосольным хозяином и гостей всегда бывало много, то мы чаще всего сидели в углу за небольшим столиком, чему были не слишком рады. Как раз в том месте под нами находился подпол, где хранились соленья, маринады, колбасы, стояли кадки с мочеными яблоками, солеными огурцами, квашеной капустой, а с потолка свешивались на крюках копченые окорока. Мама часто спускалась туда по крутой лесенке, чтобы взять что-нибудь к столу, и я следовала за ней. Но мне там не нравилось, потому что было темно, холодно и сыро. Гораздо больше привлекала меня другая кладовая комната, где соблазнительных для ребенка вещей было предостаточно. Стекланные банки с разноцветными леденцами и конфетами в ярких обертках, пряники и печенье, варенье разных цветов, ярко-желтый или белого цвета липовый мед – все это неотразимо притягивало меня к себе. Комната была светлая, ее два окна выходили на аллею, которая вела к небольшому летнему домику. Но дверь кладовой, открывавшаяся в темную переднюю, всегда запиралась на ключ.

Под окнами этой кладовой, вспоминала мама, летом из кирпичей складывалась временная печка. Бывало, в эту пору, когда поспевали ягоды и созревали ранние сорта яблок и груш, целыми днями вился дымок из трубы этой печки: здесь в огромных медных тазах варилось варенье. Его пудами заготовливали на зиму. Готовили еще домашний мармелад и пастилу. Все женские руки в семье привлекались к этому традиционно русскому занятию. Неслучайно у Пушкина в «Евгении Онегине» воспроизводится картина этого летнего «священнодействия» в усадьбе Лариных.

Летний домик, стоявший в конце тенистой аллеи в отдалении от большого дома, где когда-то жил мой дед Михаил Кириллович, называли избушкой. Сложенный из бревен, с узорчатыми наличниками и резным крыльцом он и впрямь был похож на сказочный терем-теремок. Обычно в нем устраивали на ночлег гостей, наезжавших большим скопом в летнюю пору. Но этого я сама уже не помнила, ибо росла в другие времена. Запомнилось только, как с подружками играла в пустых комнатах избушки, как гулко раздавалось там эхо наших голосов.

От раннего детства у меня в памяти остались лишь разрозненные клочки смутных впечатлений. Дополню их воспоминаниями моего старшего брата Сергея Павловича: отрывком, посвященным моему деду Михаилу Кирилловичу Кишкину. Воспоминания эти брат начал писать в 1946 году на отдаленной сельхозстанции под городом Уральском, где он проработал

большую часть своей жизни и где скоропостижно скончался в 1955 году, когда сидел у окна и смотрел на дорогу в ожидании приезда сестры Олимпиады. Воспоминания остались незаконченными. Небольшой отрывок под названием «Студенчество» был напечатан в 1966 году в журнале «Лепта» стараниями его сына Льва Сергеевича, но целиком эти интересные записки еще не появлялись в печати. Я благодарна вдове Льва Сергеевича, покойной Наталье Борисовне Семихатовой, которая при жизни передала мне эти бумаги.

### *Кириллович*

*Михаил Кириллович – двоюродный брат моего отца – сын Кирилла Ананьевича Кишкина, землю которого купил мой родной дед Семен Ананьевич. Он, Кирилл Ананьевич, после продажи земли имел плохонький дом в Тамбове и где-то служил. Его сын Михаил Кириллович почти не имел образования и с детства жил в большой нужде. С 15 лет стал писцом в каком-то учреждении и дослужился до 1-го чина (коллежского регистратора, чуть не губернатора, как шутил, подвыпив, Кириллович), женился на мещанке<sup>6</sup> и жил хорошо с женой. Она рано умерла, он стал пить. Потерял место, и родня (из семьи отца моего) распихала по приютам его детей (из них знаю только одну, оставшуюся в живых Прасковью Михайловну), а его взял к себе брат папы Петр Семенович. Когда Петр Семенович умер или, что вернее, поступил на службу на мальцевские заводы (Брянск), то он остался бесприютен и пешком пришел в Студенку примерно в 1896 году. Я помню этот день. Было лето, и пили чай во дворе. Подошел кто-то в плохом костюме и поцеловался с папой, и из громкого разговора (Кириллович был глуховат, вроде как я сейчас) мы, дети, поняли, что это наш какой-то дядя. Обедал и ужинал он с нами. А для житья ему отвели старую баню, что была тогда в парке. Он был удивительно хлопотлив в хозяйстве: попросил купить ему ниток и сразу наплел сеток-сачков для ловли раков, которых на Карае (в трех километрах от Студенки) водилась сила. Все лето таскал раков. Первую зиму Кириллович жил в доме, клеил сам себе гильзы для табаку, разные коробки для нас, ребят, топил в доме печи, крайне любил выпить, но это ему редко удавалось, т. к., зная его слабость, денег ему не давали (одевая, обувая и кормя). Он ходил с ружьем, добыл себе борзую и в первую же зиму приносил много зайцев (я думаю, что стимулом его охоты были шкурки зайцев, которые были единственным источником для его выпивки: 20 коп. шкурка = 20 коп. бутылки водки).*

*Нас, детей, он занимал своими работами, которые были многообразны: гильзы, сети, плохой, но переплет книг, – и много еще чего он мог делать. Позже Кирилловичу отвели для постоянного жительства маленькую избушку, где он жил один с собакой Вертушкой. Он очень скоро огородил в саду себе участок и сажал там табак, который и курил. Поймал где-то рой пчел и положил начало пчельнику (потом этим заинтересовался папа), и пчельник стал большим урже, с рамочными ульями. Завел кур, пристроив сарайчик к кухне сзади, и это потом развилось в большое дело с породистыми курами. Обедал Кириллович в доме, а чай и сахар ему давали, и жил он отдельной жизнью, имея возможность принимать гостей из крестьян. У него были два-три друга, и приходили они к нему со своей водочкой. Я очень любил бегать к Кирилловичу, пить у него чай, ходил с ним за раками и особенно любил ходить в полуию воду за щуками, которых он ловил «наметкой». Щук и рыбы тогда в Карае было много. И попадались огромные, до 25–30 фунтов, и еще огромные окуни, до 5 фунтов, каких я позже и не видел. Волнения, когда в наметке оказывалась крупная рыба, были у меня ужасные, и ради этого удовольствия я бегал с Кирилловичем на Карай в грязь половодья.*

*Когда я стал старше, то, имея деньги, давал Кирилловичу на водку, и мы с ним выпивали. Он меня любил очень, пел мне старинные романсы («Я моряк, красивый сам собою» и другие),*

<sup>6</sup> Здесь Сергей Павлович неточен – должно быть: поповне. – Примеч. автора.

говорил, что «коли с того света пускают, приду я тебя навестить». И в связи с этим укажу на необъяснимый случай в жизни моей. Когда умер Кириллович (о смерти его особо), я был в Москве, вернулся месяца через три-четыре. Вспоминали его с другом Гусевым, но без выпивки. Я лег в комнате Надежды Семеновны один, и в ногах у меня лежал фокстерьер. Я читал при свече. Вдруг фокс начал тихо рычать. Я поднял глаза от книги и вижу: сидит Кириллович в кресле. Я не испугался, но фокс все рычал. Я встал с кровати и поднял свечу – ясно вижу Кирилловича в его обычном костюме и в позе читающего. Мне стало как-то жутко, я вышел в коридор, за мной фокс, который стал на дверь отчаянно лаять. Проснулась няня Стигнеевна, вышла, я ей сказал, в чем дело, и она открыла дверь. Няня, крестясь, вошла со мной, но никого уже не было, и только около кресла лежала газета, с которой я видел Кирилловича. Конечно, это галлюцинация, но мне необъяснимо поведение фокса, и этот случай много меня заставил думать. Не верю я в загробное, но так ясна была картина, что забыть не могу и через 50 лет почти.

О смерти Кирилловича. Он был охотник, но когда я стал настоящим охотником, он уже ослабел. Я завел чудных борзых, привозили помногу зайцев и лис, и Кириллович просил его взять на охоту. В хороший день дали ему смирную верховую и поехали за Карай, к Мандрыкиной степи. Поймали на его глазах зайца, а потом сам он выгнал лису и стал улюлюкать. Я и Петр погнались, за нами поскакал и серый конь Кирилловича. Но мы его обогнали. Лиса была матерая и плутовка. Догнали ее до крутого оврага, она пошла краем кручи и сумела обмануть собак. Собаки кинулись в овраг, одна упала с кручи и разбилась, а сама лиса – полем в лощину, где был пчельник. Я и Петр с криком погнались за ней, зовем собак, улюлюкаем. Лиса перемахнула через тын пчельника. Петр тоже – и сбил лошадьё улей. А я мимо амбарушки помчался в узкий проход, в проходе грудью лошади сбил какого-то человека с ног, но в охотничьем азарте не до него было. Лиса была сильно загнана и вывалила язык, но все же без собак мы ее никак не могли загнать. Увидели, что она скрылась в вершине лощины, и, так как у меня было за плечами ружье, решили взять без собак. Петр заехал в лощину. А я стал с ружьем в конце поляны. У меня под седлом был Васька-маньчжурец, он был приручен сразу скакать, как выскочит заяц или лиса. И я, боясь, что он, увидя лису, ускачет за ней, надел повод на руку. Как только Петр заехал, то сразу поднял лису из лощины, она, умученная, чуть ишла и выскочила прямо на меня. Я прицелился, но Васька дернул и сунулся скакать, выстрелить не дал. Петр попытался достать лису арапником. В это время откуда-то появился Сарга – щенок борзой, который в погоне отстал от нас. Он кинулся на лису, но попал ей в рот. И лиса прокусила ему переносье. Что тут поднялось! Визг, смятение. Петр кувырком со своего коня, ухватил лису за трубу (т. е. хвост). Лиса кольцом свернулась, схватила зубами рукав его поддевки и мясо прихватила. Щенок визжит, Петр кричит: «Бей, бей». Лиса же замерла на его рукаве – ружьем бить нельзя, а кнут я уронил. И тут я ничего лучшего не придумал: быстро сел, снял сапог и сапогом заколотил лису. Все это было секундно – описывать дольше. Потом бросились мы искать Кирилловича, поехали пчельником, и старик, которого я сбил, забавно рассказал о своем перепуге: «Крик, шум, собаки, кто-то меня сбил, и исчезло все, только улей на боку». Доехали мы до места, где был Кириллович. Видим, ходит Серый, а его нет. Подъехали ближе и увидели: Кириллович пластом лежит, руки раскинул. Стали поднимать – он вроде бредит, бормочет про Петра Семеновича: «он на Горящину погнался» (это места близ имени Петра Семеновича, у которого жил Кириллович). С трудом посадили мы Кирилловича и кое-как довели домой. Он поправился, но все был плох и говорил, что это его смертная лиса была. Умер он через четыре месяца после этой охоты.

## Глава 2

### Революция. Конец усадьбы

Детство принято считать лучшей порой жизни человека. Однако оно далеко не всегда бывает безоблачным, хотя беззаботным, пожалуй, да.

Ураган революции смел по всей России дворянские гнезда. Разметал в разные стороны когда-то дружные дворянские семьи, ослабил связи внутри родственных кланов. Немало из тех, кто не принял революционных преобразований, эмигрировали за рубеж. Однако из нашего многочисленного кишкинского рода никто не покинул Родину. По крайней мере, я об этом не слышала. Даже такой человек, непосредственно причастный к большой политике, как Николай Михайлович Кишкин.

Другие Кишкины, в целом либерально настроенные, были далеки от политики. Хотя в своих воспоминаниях Сергей Павлович пишет о том, как осенью 1905 года он, только что попавший в Москву студент, оказался в гуще событий. В первый же день приезда он пошел к двоюродным братьям и у памятника Пушкину увидел, как побежал народ, который гнали верховые.

*«Я (первый день из деревни) не понял, в чем дело, и стоял. Верховой (казак) проскакал мимо и походя ударил меня. Я, в жизни не битый, реагировал бессознательно: у моих ног на тротуаре оказалась куча камней, я машинально схватил камень, запустил в обидчика-казака и попал ему в спину. Тот повернул лошадь, увидел меня с камнем в руке (вторым) и с криком “Вот он, бунтовщик” полез на тротуар и старался ударить меня нагайкой. Ударил меня легко по руке, т. к. лошадь не шла на тротуар, а я прижался к стене дома и закрывался руками. Открылось окно, и оттуда мне кричат: “Коллега, давайте руку!” Я был в студенческой фуражке, а все студенты тогда звали друг друга коллегами. Я обернулся к окну (1-го этажа – дом цел и сейчас, 1954): в окне много студентов, и протягивают руки. Я уцепился, и меня втащили в окно (упор ног в стену). Казак заставил лошадь взойти на тротуар и в полную силу нагайкой мне вцепил в спину (след удара был месяца полтора, даже видно было утолщение нагайки)».*

Синяя полоса от нагайки на спине и ссадина на брови сделали Сергея героем среди знакомой молодежи. Он очень гордился синяком и охотно ходил на демонстрации.

*«Помню Москву этих дней – вся она бурлила, вся была на улицах, и было странное смешение: красные флаги, банты, на всех площадях шествия, митинги. Помню, что у памятника Скобелеву первые дни была непрерывная толпа – митинги, и Скобелев украшен красными флагами, и даже балкон градоначальника был с красными флагами вперемешку с национальными. Видел на балконе, кого не знаю, из чинов градоначальства с красным бантом. Но это было только в первый день, когда все ликовали, и вся полиция или исчезла, или сама была с красными бантами».*

Потом начались столкновения, драки, избиения казаками и черносотенцами студентов. Сергей сгоряча даже записался в студенческую дружину, которая отвечала за охрану общежития и наружную охрану.

*«К нам никто не заглядывал, и вся наша работа заключалась в патрулировании на территории академии (ждали поджогов) и в упражнениях в стрельбе в парке. Револьвер был “бульдог”<sup>7</sup>, и попасть из него далее 10 шагов было невозможно».*

Но потом ситуация изменилась.

---

<sup>7</sup> «Бульдог» – популярный в конце XIX – начале XX века карманный револьвер (с коротким стволом). Некоторые особенности он унаследовал от британского револьвера Webley № 2 (British Bulldog).

*«Письма и вести из Студенки приходили страшные (начались погромы имений), и по совету теток, да и делать нечего было, а подлинным революционером я не был, я уехал домой, воспользовавшись перерывом в забастовке железных дорог в половине ноября – второй половине первого года студенчества.*

*Сейчас точно не помню свои истинные побуждения, заставившие меня уехать перед декабрьским восстанием в Студенку. Их было много: беспокойство за папу, Шуру, сестер, представление, что я что-то могу там сделать, изменить, помочь. Имело место и то, что я, не будучи связан по-настоящему с волнением Москвы и, пожалуй, не понимая его сути, не нашел себе в нем места и был как бы лишним. А когда 50 % студентов разъехались после того, как объяснили, что лекции и занятия прекращены до особого объявления, то стало и скучно, тем более что в ноябре было некоторое затишье и даже интервал в забастовках. Имело значение и письмо папы, написанное им, когда он и сестры покинули дом и переселились в деревню. Письмо носило завещательный характер и возлагало на меня заботу о Студенке, о семье. Сумма этих побуждений плюс энергичные уговоры тети Маши (Марии Семеновны) и заставили меня уехать, тем более что железная дорога заработала (позже она снова и надолго стала)».*

Единственным настоящим политиком в нашем кишкинском роду, как я уже сказала, был Николай Михайлович Кишкин. Он был сыном старшего брата моего отца, а я, получается, доводилась ему двоюродной сестрой. Именно он в годы революции сделал нашу фамилию знаменитой. Врач-физиотерапевт по профессии, бесплатно обслуживавший Елизаветинский приют в Москве и имевший свою электро— и водолечебницу на Большой Молчановке (дом № 12), он рано начал участвовать в общественном движении, стал одним из основателей партии кадетов и членом ее ЦК с 1905 года. Политическая звезда Николая Михайловича особенно ярко заглясь после Февральской революции 1917 года, когда он стал комиссаром Временного правительства в Москве (фактически мэром города), а после Корниловского выступления принял предложение Керенского, с которым у него были доверительные отношения, и вошел в состав Временного правительства, заняв пост министра государственного призрения<sup>8</sup>. Именно в это время пробольшевистски настроенные солдаты и матросы ходили по улицам Петрограда с криками «Долой Кишкиных-Бурышкиных!» Лев Каменев, резко критикуя Временное правительство на Демократическом совещании в сентябре 1917 года, говорил: «Если демократия не захочет сейчас взять власть в свои руки, они должны открыто сказать себе: “Мы не верим в свои силы, а потому, Бурышкины и Кишкины, приходите и владейте нами, мы сами не умеем”». Эти рифмующиеся между собой фамилии двух министров Временного правительства стали нарицательными.

В критический момент Н. М. Кишкин поставил Керенскому условие: он не хотел, чтобы кто-то стоял за его плечами и ограничивал свободу его действий. В октябре 1917 года он фактически стал выполнять функции петроградского генерал-губернатора. Буквально накануне Октябрьского переворота Керенский перед своим тайным побегом поручил Николаю Михайловичу возглавить свое печально известное правительство, передал ему все полномочия по наведению порядка, и Николай Михайлович стал диктатором России. Но оказался калифом на час, а если точнее, то на 24 часа или менее. И разделил участь всех членов правительства: был арестован прямо в Зимнем дворце и посажен в Петропавловскую крепость. Сколько он пробыл в заключении, когда его освободили – не знаю<sup>9</sup>. Сама я никогда его не видала, но имя его меня преследовало. В 1941 году по окончании института на распределительной комиссии мне снова задали сакраментальный вопрос: «Скажите, Кишкин – не ваш ли родственник?» Я,

---

<sup>8</sup> То есть пост министра социального обеспечения.

<sup>9</sup> После первого ареста Н. М. Кишкин был освобожден в марте 1918 года.

наученная горьким опытом, не моргнув глазом сказала: «Нет, однофамилец». У меня и так уж неприятностей было – не оберешься.

\* \* \*

Революция 1917 года прошла мимо моего сознания. Ничего о происходящих событиях я не знала, но запомнился один эпизод, характерный для этого времени. Мы, дети, играли в большой просторной комнате нашего помещичьего дома. Комната не была заставлена мебелью: кроме пианино только стулья, стоявшие вдоль стен. Именовалась эта комната залой. Окна ее выходили на балкон, ступеньки которого спускались в сад. Летом маркизы<sup>10</sup> на окнах защищали комнаты от знойного степного солнца. Перед наступлением холодов с балкона вносили в дом огромные кадки с цветами. Эти экзотические растения, расставленные возле окон и балконной двери в зале, прочно врезались мне в память. Они цвели. Их мелкие белые цветы источали пряный аромат. Много лет спустя в китайской провинции Гуандун необычный запах цветов напомнил мне далекие годы детства. «Что это за дерево?» – заинтересованно спросила я. Оказалось, у него необычное название – «Источающее аромат на девять ли<sup>11</sup>». Возможно, это были те самые тропические растения...

В тот день в полупустой зале резвиться нам было привольно. И вдруг кто-то из детей постарше ни с того ни с сего запел: «Никто не даст нам избавленья – ни бог, ни царь и ни герой...» Эти слова меня поразили. При этом слово «царь» не вызвало никаких эмоций: я знала по сказкам, кого так называют, а в сказках с царями происходило всякое. А вот что Бог, всемогущий Бог не поможет – это меня озадачило. Как же так? Ведь каждый день, утром и вечером, меня заставляли читать молитвы «Отче наше» и «Богородице Дево, радуйся» и просить у Всевышнего милости, помощи. А Он, оказывается, не может ни помочь, ни избавить от плохого?

Много позже я узнала, что это были слова коммунистического гимна «Интернационал».

На дворе, видимо, стоял уже 1918 год. Надвигалась иная грозная эпоха, и стены усадьбы уже не могли защитить нас от кровавого разгула беспорядков, охвативших Россию.

Еще один эпизод оставил глубокий след в памяти. Я с родителями сплю в комнате, которая называлась у нас «темной», потому как два ее окна выходили в коридор, а дверь открывалась прямо в залу. Наверное, было уже далеко за полночь.

В углу перед киотом с образами (божницей, как его называла мама) слабо теплилась лампадка. Резкий стук в дверь поднимает моих родителей с постели. Мама, полуодетая, торопливо зажигает керосиновую лампу и открывает дверь. На пороге, словно разбойники из сказки, возникают люди в масках. Направляют на отца пистолет и требуют, видимо, золота. Что им ответил отец – не знаю. Только вслед за этим его вывели в залу и поставили к стенке. Раздался выстрел. Пуля просвистела у отца над головой, к счастью, не задев его. Грабители, видимо, решили поугаать отца.

Люди в масках вернулись в комнату и принялись лихорадочно рыться в ящиках комода, шарить повсюду. В это время я, ничего не понимая, спокойно восседала на своем «троне», то бишь поставленном на кровать ночном горшке. Бандиты нашли-таки золотые монеты, лихорадочно стали рассовывать по карманам. Мне с высоты кровати хорошо было видно, как несколько блестящих монеток закатились под комод, и я поспешила сообщить об этом: «Дяденьки, дяденьки, вон там еще монетки». Но подбирать эти деньги «дяденьки» не стали, а сразу ушли. Мама потом утверждала, что в них заговорила совесть. Кто знает, может быть, наивная непосредственность ребенка и впрямь устыдила этих ночных пришельцев. В семье у

---

<sup>10</sup> Наружные навесы на окнах.

<sup>11</sup> Китайская традиционная мера расстояния. 1 ли равен примерно 576 м.

нас их окрестили грабителями. Кто они были, так и не стало известно. Время шло беспокойное, смутное, и на волнах революции всплывали всякие отбросы и шлак.

В родную Студенку, как в укрытие, перебралась с детьми старшая сестра Екатерина Павловна, самая любимая, по словам мамы, дочь отца. Незадолго до революции ее муж Федор Шаховской умер, и Екатерина Павловна переехала в Москву, сняв квартиру на углу Дурновского (позднее – Композиторская улица) и Трубниковского переулков. Пенсии, которую ей выплачивали за мужа, не хватало, и сестры Мария и Липа, жившие с ней, платили ей за занимаемые ими комнаты. Когда в 1918 году с продуктами в Москве стало совсем плохо, Екатерина Павловна заперла квартиру, забрала детей – Лену и Мишу Радчевских и Нину Шаховскую – и уехала в Студенку, где уже находилась и Анна Павловна с семьей. Сама Катя давно уже страдала чахоткой, и все знали, что ее болезнь неизлечима. Теперь сестра умирала в родном доме, в угловой комнате.

Запомнился мне поздний холодный вечер. В доме в тот час было тихо и уныло. Мама в зале возилась около медогонки – довольно примитивного аппарата, с помощью которого из пчелиных сот гнали мед. Я играла подле мамы. Изредка мне перепадала ложечка свежего меда, чистого, как слеза. Вдруг дверь из гостиной открылась: в дверях стоял отец. «Катя умерла», – тихо произнес он. Утешения были неуместны: слишком уж большое горе обрушилось на отца. Из передней слышались приглушенные всхлипывания, и я побежала туда. Под вешалкой, прижавшись друг к другу, застыли Лена и Миша – дети покойной Кати. По малолетству я не смогла осознать всю глубину трагедии моего отца и этих детей, потерявших родного, близкого человека.

По-видимому, отец очень любил и меня, своего последыша. Часто, помнится, сажал меня к себе на колени и рассказывал что-то, причем не только сказки, но и подчас даже совсем непонятные для меня вещи. Говорил, например, как я это теперь понимаю, о строении клеток органического мира. Но для меня слово «клетка» означало только клетку, в которой сидят птицы, и в моем воображении крутились деревянные и железные клетки – только это я и поняла из отцовского рассказа.

Со мною отец всегда был ласков. И сама я ласкалась к нему. Мне нравилось перебирать его мягкую пушистую бороду, слушать неторопливую речь. Усаживая к себе на колени, отец нежно гладил меня по голове, приговаривая: «Сиротка ты моя бедная». Про себя я недоумевала, почему он меня так называет: я знала, что у сирот нет родителей, но у меня-то они есть!

Видимо, отца томили тяжелые предчувствия. И не зря! Неожиданно он исчез куда-то из дома. А потом я увидела маму в слезах. Она стала поспешно собираться в дорогу, наняла крестьянскую подводку и, взяв меня, поехала за двадцать пять верст в село Турки. Мама сказала мне, что отец умер, и мы едем его хоронить. Много позже я узнала, что отца взяли под арест и на телеге увезли в ВЧК. Заводилами ареста, по словам земляка, Гурия Ивановича Макаркина, была местная деревенская гольтьба. Вся деревня высыпала на пригорок возле школы провожать Павла Семеновича. Эта была та самая школа, которую построил отец. Кирпичное добротное здание, выдержав все испытания, стоит там и по сей день, на кирпичах видны клейма ПК (Павел Кишкин), но отца давным-давно уже нет. И в здании, оставшемся без присмотра, выломаны деревянные полы и оконные рамы. Увы, пройдет еще немного времени, и его окончательно растащат. В эту школу я начала ходить, когда мне еще не исполнилось и шести лет.

Когда мы приехали в Турки, то уже не застали отца в живых. По дороге в ВЧК он принял цианистый калий – говорят, в семье Кишкиных была традиция носить яд с собой в кольце. Позднее мы в этом еще раз убедились.

Тело Павла Семеновича, окоченевшее, пролежало два дня в Турках в домзаке (доме предварительного заключения), на сеновале. Так мне сказала мама. Сама я увидела отца уже лежащего в гробу, с восковым лицом. Меня приподняли и велели поцеловать его в лоб, на который по христианскому обычаю был возложен венчик – полоска бумаги с изображением Христа,

а может быть, Бога Отца Саваофа. Потом гроб на полотенцах опустили в могилу. Застучали комья земли по крышке гроба, и все было кончено. В испуге я прижалась к маме: мне было страшно и очень жаль папу, которого оставили одного в темной глубокой яме.

Старший мой брат Сергей Павлович, агроном, живший в Турках, устроил по отцу поминки. За поставленным в форме буквы «П» столом сидело много народу – так мне запомнилось. Кто они были – не знаю. Видимо, местная интеллигенция: агрономы, учителя, служащие не расформированных покуда ведомств и кое-кто из окрестных помещиков, не покинувших еще свои усадьбы, где уже угасала прежняя жизнь.

Ушел отец, разваливалась семья.

Где-то в неизвестности пропала Мария Павловна. По некоторым слухам, она примкнула к белому движению, работала медсестрой и, заразившись тифом, умерла в 1918 году не то в Калуге, не то под Ярославлем.

Весной 1919 года Томас Зилес посадил в телеги жену Анну Павловну с детьми, Надежду Семеновну, Лену и Мишу Радчевских, маленькую Нину Шаховскую и их старенькую няню, привязал к телегам двух коров и увез всех на хутор, где он работал. Мы с мамой остались в Студенке – одни посреди пламени Гражданской войны.

\* \* \*

Из тех кровавых лет в памяти запечатлелись в памяти несколько эпизодов.

Летом 1920 года по деревне стали расползаться слухи об антоновцах. Детский мой ум не воспринимал истинного значения этого слова. Я только знала, что антоновкой называют кисло-сладкие вкусные яблоки, созревающие к осени, когда, прихваченные заморозками, они сочно хрустят на зубах.

Но вот однажды я и мои подружки Шура и Маруся беззаботно играли на лугу. Вдруг, запыхавшись, прибежала Параня, мать Шуры. Прежде в имении она была так называемой черной кухаркой, так как стряпала на «черной кухне» для батраков, а мать Маруси, Марфуша, «белая кухарка», готовила для господ. Тетя Параня потащила нас в дом, каменное строение с толстыми стенами, и засунула под лавку, наказав лежать тихо, не вылезать оттуда. Мы покорно повиновались, хотя не понимали, зачем это нужно. Вскоре мой слух уловил отдаленные звуки, напоминавшие частый стук швейной машинки: тук-тук-тук. Где-то за деревней, оказывается, строчил пулемет. Вскоре с улицы донесся дробный цокот конских копыт и лихое гиканье. В деревне поднялась суматоха: кричали люди, кудахтали потревоженные куры. Налетела банда антоновцев, а это была уже беда. Антоновцы забирали крестьянских коней, не оставляли без внимания и курочек-пеструшек. Отнимали перовые подушки, которые клали себе на седла, подчас из простого озорства вспарывали перины так, что в воздухе снежным вихрем кружились перья и пух. Во главе отряда на лихом коне скакала небезызвестная атаманша Маруся<sup>12</sup>, удалая и безудержная. К счастью, в деревне на этот раз антоновцы долго не задержались: их преследовали красные.

А еще, помню, я с ребяташками бегала смотреть на зарубленного красного комиссара. Он лежал на телеге, а вокруг столпилось столько народу, что протиснуться поближе стоило большого труда. Тело убитого было прикрыто рогожей. Ничего я не увидела, лишь наслушалась страшных пересудов.

---

<sup>12</sup> Маруся (Мария Григорьевна Никифорова, 1885–1919) – анархистка, соратница Нестора Махно. Ее казнили в 1919 году, однако в 1920–1921 годах, во время восстания антоновцев в Тамбовской губернии, ходили слухи, что именно она со своей бандой чинит погромы и грабежи. Позднее выяснилось, что это была некая Мария Косова, хотя некоторые исследователи считают, что Маруся было несколько.

И еще одно трагичное событие случилось в то лето, когда отца уже не было в живых. Погода в тот год стояла необычно сухая и знойная, даже для наших засушливых краев. Ранним утром, когда заря только занималась, меня разбудили беспокойный шум и суматоха в доме. Я присела на постели, но, обнаружив, что мамы в комнате нет, сползла с кровати, босиком, в одной рубашонке выбежала на балкон. Там столпились все обитатели нашего дома и о чем-то громко, взволнованно говорили. Слышались вздохи, ахи и охи.

В той стороне, где находилась деревня, от которой наш дом отделял сад, небо было окрашено в зловещий багровый цвет, густые черные клубы дыма поднимались ввысь. Едко пахло гарью. Тревожно гудел набат. Доносился глухой гул множества голосов и заполошные крики. Студенка горела.

Огонь пожрал всю деревню, все ее 120 с лишним дворов. Уцелело лишь несколько изб, стоявших на отлете, их удалось отстоять.

В наш дом начали вселять погорельцев, в каждую комнату по несколько семей. Нам с мамой оставили одну, ту самую «темную», которая прежде служила спальней моим родителям. К зиме в зале и других комнатах стали складывать русские печи, без которых крестьянину жизнь не в жизнь. Помню, я с другими девочками, моими подружками, забиралась по приступкам на печку, где от кирпичей исходило блаженное тепло, и там мы обретали тихий уединенный уголок для наших игр. От переуплотнения нашего жилища я не испытывала дискомфорта – наоборот, у меня появилось больше друзей. Между тем дом наш, такой прежде ухоженный, вместив немалое скопище людей, утратил прежнюю чистоту и порядок. Повсюду грязь, запущенность, спертый, тяжелый воздух. Но разве в детстве на это обращаешь внимание?!

На следующий год по весне крестьяне начали понемногу обустраиваться. Кто побогаче – ставил новые избы, а кто победнее – оборудовал временные землянки. Дом наш постепенно пустел, однако прежнего вида уже не обрел. Он сразу опустился и одряхлел, словно человек, переживший сильный стресс. Это было началом его конца: наступали новые времена. В 1927 году дом сгорел дотла, а теперь даже и следов от него не осталось – все заросло бурьяном.

В соответствии с декретом Советской власти, земля, все уголья, в том числе и сад, были конфискованы, так же, как и в других имениях. Сельскохозяйственные машины, инвентарь, домашний скот – коровы, овцы, свиньи и лошади – куда-то бесследно исчезли. Разбазарили их, видимо, без особой пользы для крестьян. Жаль, что пропало такое добро. Постройки – коровник, свинарник, овчарня и конюшня – стояли пустыми и год от года ветшали, тоже никому не нужные.

Маме моей был нарезан земельный надел десятины в две— три, который она сдавала в аренду, что разрешалось, – сама-то она ни пахать, ни сеять не умела. Арендную плату нам отдавали натурой – зерном, это служило основным источником нашего существования. Пчельник был тоже конфискован, но маме оставили два – три улья, за которыми она ухаживала сама, благо был навык, оставшийся еще с барских времен. С тех же времен сохранилась и амуниция: халат с завязочками на концах рукавов и шляпа с широкими полями. Приходя на пчельник, мама всегда спускала сетку, чтобы пчелы не покусали, хотя пчелы ее знали и, как правило, не трогали. Когда мы уезжали из Студенки, мама сдала ульи в аренду знакомому крестьянину, а потом и вовсе продала. Помню, тогда нам в Москву прислали в уплату большой бидон меда. Я ела его ложками, и это меня спасло от начинавшегося туберкулеза.

Земляки-крестьяне неплохо относились к моей матери: она была добрым и отзывчивым человеком, простым в общении. Прежде, как умела, врачевала их хвори, снабжала даром лекарствами из домашней аптечки. И в трудные времена ей за добро платили добром. Кто мог, приносил меру пшена или муки, кто десяток яиц, кринку молока или сметаны, а порой даже и горшочек меду, хотя у нас самих всегда был мед. Помимо того мама шила поддевки, рубахи и порты мужикам, а бабам юбки и кофты. Получала за работу тоже натурой. Так вот мы и жили.

К тому времени из Москвы вернулся брат Володя. Кадетский корпус, где он учился, закрыли. В свои четырнадцать лет Володя начал помогать в хозяйстве одному зажиточному крестьянину. Володя так пришелся хозяину по душе, что тот по бездетности даже хотел усыновить его, но мама воспротивилась. В деревне Володя переболел тифом, сыпным или брюшным – не знаю. Получил осложнение на сердце, которое на всю жизнь сделало его инвалидом.

Жить в Студенке становилось все труднее. Хорошего хлеба мы, как и все, уже не видели. Пекли из ржаных отрубей, подмешивая в тесто лебеду. Хлеб получался кляклый, отвратительного зеленого цвета. От него с души воротило.

В 1920 году Поволжье постигла невиданная засуха. Солнце беспощадно выжигало посевы и степные травы. Земля трескалась от палящего зноя. Помню, как при огромном стечении народа на полях служили молебны о ниспослании дождя. Выносили чудотворные иконы, священники в полном облачении отправляли службу, кропляли святой водой. Крестьяне неистово молились, но небо оставалось глухо к мольбам отчаявшихся людей. Неумолимо надвигался голод, принявший в последующие годы устрашающие размеры. Вымирали целые деревни. Учащались случаи людоедства.

Русская интеллигенция, потрясенная происходящим, не могла оставаться безучастной. Видный общественный деятель, бывший кадет С. Н. Прокопович через А. М. Горького обратился к Советскому правительству с предложением о помощи голодающим. Предложение в принципе было одобрено на заседании Политбюро. 7 июля 1921 года декретом ВЦИКа был учрежден Всероссийский комитет помощи голодающим (Помгол), который возглавили С. Н. Прокопович, Е. Д. Кускова и Н. М. Кишкин. Почетным председателем был избран В. Г. Короленко. Членами комитета стали многие видные деятели науки и культуры: А. М. Горький, К. С. Станиславский, Б. К. Зайцев и другие. Все эти люди были хорошо известны на Западе, что в принципе могло принести Советской власти пользу. В больших городах были организованы отделения Помгола. Началась работа по сбору помощи голодающим, привлечению средств, в том числе и от зарубежных благотворительных фондов. В Помгол были введены и двенадцать представителей Советской власти во главе с Львом Каменевым. Но очень скоро размежевание между либеральным и большевистским лагерями дало о себе знать. Борис Зайцев позже вспоминал: «“Наших” было числом гораздо больше: профессора, статистики, агрономы, общественные деятели, литераторы, – вроде парламента»<sup>13</sup>.

Парламент для Советской власти был совершенно лишним. 26 августа 1921 года в документе, направленном Лениным в Политбюро ЦК РКП (б) на имя Сталина, были даны указания: «Прокоповича сегодня же арестовать по обвинению в противоправительственной речи... Остальных членов... тотчас же, сегодня же, выслать из Москвы, разместив по одному в уездных городах, по возможности без железных дорог, под надзор... Газетам дадим директиву: завтра же начать на сотни ладов высмеивать... Изю всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение двух месяцев»<sup>14</sup>. Таким образом, в августе 1921 года началась планомерная кампания профанации Помгола, который стали издевательски называть Прокукиш – Про-копович, Ку-скова, Киш-кин. Владимир Маяковский в «Окнах РОСТА» от имени Главполитпросвета писал:

*Ни на Европу не надейся, ни на Прокукиш, надейся только на свои руки.*

*Если на Европу надеяться – пронадеешься сто лет и умрешь, от надежд исхуда, как скелет.*

*Если на благотворителя пронадеешься, что языком вертит, – тоже пронадеешься до самой смерти.*

<sup>13</sup> Зайцев Б. Веселые дни / Зайцев Б. Странное путешествие. М.: ОЛМА-пресс, 2002. С. 307.

<sup>14</sup> Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М.: Издательство политической литературы, 1970. Т. 53. С. 141.

*Надейтесь только на силу свою, и выйдем победителями в голодном бою.  
[1921, сентябрь] Главполитпросвет, № 344<sup>15</sup>*

Все члены Помгола, некоммунисты, действительно были арестованы и высланы с максимальной быстротой. Причина такой спешки в пресечении деятельности Помгола заключалась еще и в опасении, что международная помощь, проходящая через эту организацию, может быть использована для «подрывной политической деятельности». Борьбу с голодом целиком взяло в свои руки Советское правительство и созданная им Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК. Руководителей Помгола обвинили в антисоветской деятельности, мол, используя лозунг борьбы с голодом, они требовали передачи Помголу административных и хозяйственных функций, установили связь с представителями ряда буржуазных правительств и белоэмигрантскими кругами и т. п. К счастью, в дело вмешалась первая жена Горького, Екатерина Павловна Пешкова, руководительница Политического Красного Креста. Она направила в президиум ГПУ ходатайство с просьбой переменить приговор членам разогнанного Помгола, в основном людям немолодым, и разрешить им вернуться из ссылки в Москву. Благодаря такому заступничеству «прокукиши» вышли на свободу. Прокопович и Кускова выбрали изгнание и в 1922 году выехали за границу. А Николай Михайлович Кишкин, отбывавший ссылку в Вологде и затем освобожденный по амнистии, остался в России и с 1923 года работал в отделе Народного комиссариата здравоохранения РСФСР, где занимался организацией санаторно-бальнеологических<sup>16</sup> здравниц на Кавказе и в Крыму. Одно это уже говорит о том, что ни о какой антиправительственной деятельности он не думал. Но даже амнистированного Николая Михайловича в покое не оставляли. В 20-е годы его неоднократно арестовывали. Ушел на пенсию, но в конце 1920-х годов, после ужесточения политического режима, постановление о пенсии было отменено, и он был лишен даже продовольственных карточек. Легко представить, что ждало его дальше, но судьба сжалась над ним: он умер своей смертью в марте 1930 года.

Кульминации страшного бедствия – голода в Поволжье – мы уже не застали, так как мама вовремя приняла решение покинуть Студенку.

Вернувшись туда в 1927 году, на излете нэпа, я увидела Студенку уже иной. В то лето я с мамой приехала погостить у Сергея Павловича в Турках. Двое его сыновей, Алик и Лева, были моими ровесниками, вместе с ними я и совершила поход из села Турки в эту родную мне деревню. Пустились мы в путь на рассвете. Шли босиком по пыльной проселочной дороге, перекинув по-крестьянски обувь через плечо, – так и ботинки меньше снашиваются, и идти удобнее, да и привычнее, ведь все лето мы бегали босоногими. Шли без отдыха, останавливаясь лишь перекусить, присев на обочине. Шаг был молодой и быстрый, так что до заката солнца, отмахав двадцать пять верст, мы оказались у цели, хотя уже с ног валились от усталости. Мать моей подружки Шуры, все та же сердобольная тетя Параня, нас напоила, накормила и спать уложила в амбаре на расстеленных на полу овчинных тулупах. То ли от переутомления, то ли от кислого запаха овчины, а может, от переполнения желудка, мне стало плохо, и я всю ночь выбегала на улицу – все нутро у меня выворачивало наружу. Утром же все будто рукой сняло. Вот что значит быть юным! Никакие хвори не страшны.

В том, 1927, году результаты нэпа были налицо. Деревня Студенка выглядела процветающей. Избы были новые, с садами на задворках, огородами и бахчами – земли-то ведь в досталь. Скотины в домашнем хозяйстве полно, домашней птицы тоже. Речка Студенка словно пухом белым была покрыта – столько плавало на воде гусей и уток. Удивительные перемены поразили мое тогда еще совсем юное воображение: ведь я покинула деревню, когда на нее надвигался голод.

<sup>15</sup> Маяковский В. В. Окна РОСТА и Главполитпросвета (1919–1922) / Полное собрание сочинений в 13 тт. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. Т. 3. С. 410.

<sup>16</sup> Бальнеология – наука о лечебном применении минеральных вод.

Сад снимали приехавшие из уездного города Балашова арендаторы. Надо сказать, что и при жизни отца сад тоже сдавали в аренду, оставляя при этом право без ограничения пользоваться фруктами. Сад ведь был настолько большим, что это не причиняло особого ущерба съемщикам. Когда в Балашов на базар (и после революции) привозили фрукты из кишкинского сада, то они шли нарасхват.

Позднее этим садом много лет занимался один студенковский доброхот-колхозник. От природы он был садовод, любил это дело, и сад при нем жил, плодоносил и давал хороший доход. Но как только этого человека не стало, сад лишился своего радательного хозяина, сделался никому не нужным: заброшенный, одичавший, он зарос травой и кустарником. Сквозь дебри этого словно заколдованного царства не проредешься. Тем не менее сад плодоносит, значит, еще не совсем погиб. Осенью сюда совершают набеги из близлежащих сел и деревень (и даже из Балашова) и машинами увозят бесхозные фрукты.

Когда весной 1993 года я побывала на своей малой родине, мне было мучительно грустно видеть картину запустения и одичания столь мною любимого сада. И совсем не потому, что во мне заговорило чувство собственника. Отнюдь нет! Этого чувства у меня никогда не было, ибо в жизни я ничем существенным не владела. Просто обидно было, что добро пропадает зря.

До революции с плодами из этого сада (да поначалу и после революции) поступали так: продавали их или сдавали на перерабатывающий завод, где изготовляли консервы. Теперь же этим заниматься некому: деревня вымерла. Осталось всего человек сто (в былые времена насчитывалось более тысячи), да и то лишь старики и старушки, доживающие свой век. На широкой, поросшей травой улице не увидишь играющих ребятишек, не услышишь их звонких голосов. А в пору моего детства летними вечерами здесь, взявшись за руки, шеренгами ходили принаряженные парни и девушки. Под залихватскую мелодию гармоника пели знаменитые «саратовские страдания» – частушки. Потом на пяточке отплясывали до утренней зари, а с первыми лучами солнца опять шли в поле.

Если теперь Студенка почти что вымерла, то соседние деревни Ивановка и Журавка вообще исчезли с лица земли (Студенка ныне именуется Студен-Ивановка<sup>17</sup>).

Невольными свидетелями окончательного угасания Журавки стала я с моими спутниками 3 мая 1993 года. Тем вечером мы пошли прогуляться в сторону опустевшей Журавки, которая прежде совсем близко подходила к студенковской околице. Мы присели на крылечко одинокого заколоченного домика, уютно расположившегося в саду, любовались закатом, вдыхали аромат степных трав и слушали звонкие трели соловья. А на следующий день по Студенке мимо нас проехали на грузовике из города дюжие мужики и по бревнышку разобрали дом. Оказалось, купили его на бревна за два цветных телевизора. На этом и завершилась история существования деревни Журавка, ибо тот дом был последним уцелевшим среди вакханалии разрушения. Зарастет теперь деревня травой, и следов от изб не сыщешь.

Запомнилось, как в тот приезд – увы, последний – сижу я на лавочке у избы, стоящей на отлете, на бугре, и смотрю, как вдали на горизонте угасает майская вечерняя заря, как над дорогим моему сердцу садом тучей вьются птицы – вороны и галки, устраиваясь на ночлег в ветвях старых деревьев. Гомона мне их не слышно, но он, знакомый с детства, звучит в ушах. Какое-то непередаваемое словами чувство – приятное и вместе с тем невыразимо грустное – поднимается из глубин души. Как все преходяще в этом мире! Никого уже нет в живых из близких, дорогих моему сердцу людей, да и сама я уже подхожу к последней, завершающей черте жизни.

Заря погасла, птицы закончили свое кружение, угомонились, сгустившиеся сумерки поглотили очертания сада, и я поднимаюсь со скамьи и иду в избу – возвращаюсь в настоящий день.

---

<sup>17</sup> Так было в 1993 году, сейчас Студен-Ивановки уже нет.

## Глава 3

### Переезд в Москву

Перед лицом надвигающегося голода мама быстро оценила ситуацию, написала в Москву двоюродной сестре по материнской линии Софье Николаевне Дьяковой и очень скоро получила ответ. Началась подготовка к отъезду. Вещи, в том числе кое-что из мебели, упаковывались для отправки малой скоростью по железной дороге. Потом их на подводе увезли в Балашов.

По-детски я радовалась возможности увидеть Москву. Еще бы! Большой город, где есть электрическое освещение, о котором я знала только по рассказам. В жизни я видела только керосиновые лампы и свечи, а последнее время мы и вовсе сидели при тусклом свете плошки: в блюдечке с подсолнечным маслом плавал нитяной фитилек, пропущенный через просверленную в картофелине дырку. А там, в этом чудесном городе Москве, стоит лишь нажать кнопку, и сразу вспыхнет яркий свет. Об этом еще при жизни рассказывал мне отец. Будучи начитанным человеком, он удивлял всех описаниями подобных чудес. Много наслышалась я и о высоких многоэтажных домах. «А как же туда лазить?» – размышляла я и мысленно рисовала такую картину: к каждому этажу снаружи ведет лестница, как у нас в сушилке для зерна, по ней люди и взбираются. Страшновато, конечно, потому что высоко, но зато как интересно!

Словом, я была поглощена мыслями о волшебном городе, но к маме не приставала с вопросами: она вся была в хлопотах.

Наступил день отъезда. Было это, по-моему, осенью 1920 года. Меня усадили на телегу посреди узлов и корзин. Мама попрощалась с провожавшими, всплакнула, перекрестилась и сказала: «Ну, с Богом!» И мы тронулись в дальний путь.

Перед отъездом из Студенки мне срезали буйные льняные кудри, остригли наголо. Такой вот – в панаме на бритой голове, в пальто со складками, сшитом мамой из сурового полотна, – я себя и запомнила.

Я еду на телеге, зажатая со всех сторон поклажей. Меня, маленькую девочку, это не раздражает, так же, как и тряска нашего «экипажа» и мелкая трусца лошаденки. Я спокойно сижу и смотрю вокруг: по обеим сторонам проселочной дороги поднимается необозримое воинство подсолнечников, склонивших свои отягощенные поспевающими семечками головки в ореоле желтых лепестков. Возница наш спрыгивает с телеги, откручивает подсолнечную шляпку и дает мне. Я шелушу семечки и с интересом созерцаю заново открывающийся для меня мир.

А не так уж и давно, по рассказам взрослых, меня, годовалого ребенка, вывозили на прогулку совсем по-иному. Летом к крыльцу подавали коляску на рессорах, запряженную серым в яблоках рысаком. Кучер взбирался на козлы, а позади на мягкое сиденье усаживалась няня со мной на руках. Зимой же меня катали в легких санках с теплой меховой полостью. Так немолодые уже родители бездумно баловали свою дочку. И что бы вышло из меня, если бы подобного рода баловство продолжалось? Капризная барышня. Но судьба распорядилась по-иному – крутой перелом в жизни родителей определил и мою дальнейшую жизнь.

Садиться в поезд мы должны были на станции Аркадак – это верстах в сорока от нашей деревни. По дороге заехали на хутор, где была создана сельскохозяйственная артель «Задруга» – нечто вроде сельской коммуны. Главным агрономом там был муж Ани (Анны Павловны), одной из моих сестер, – Томас Арнольдович Зилес. (Его немецкое происхождение сильно подвело его во время репрессий 30-х годов, он тогда оказался в тюрьме, правда, ненадолго.) В семье у Ани с Томасом было много ртов: кроме своих двух детей – Марины и Димы – они приютили еще осиротевших детей Кати – Лену, Мишу и Нину, у них жила и наша тетка Надежда Семеновна. Этой старой женщине, привыкшей чувствовать себя полновластной хозяйкой в имении, выпала незавидная доля превратиться в безгласную нахлебницу. Гордая ее

натура не могла примириться со всем происходящим, с положением бесправной приживалки, и она решилась на трагический шаг. Вскоре после нашей последней встречи, как-то вечером, она тщательно помылась, обрядилась во все чистое, испросила у всех прощения за нанесенные им обиды и отправилась в коридор, где за неимением другого места стояла ее кровать. Наутро ее нашли мертвой в постели: она отравилась, приняв, как и мой отец, цианистый калий.

Жила семья Ани в небольшом деревянном доме, где прежде обитал владелец хутора. Позади дома находился фруктовый сад, не такой, конечно, большой, как в Студенке. В саду размещался пчельник – с десятков ульев, принадлежавших артели. На хуторе я встретила старого знакомого Бобика. Это был умный лохматый пес-дворняга, любимец мамы. В Студенке он преданно ходил за ней по пятам, а со мной ласково играл. Маме пришлось отдать его сюда, на хутор, поскольку мы собирались уезжать. Позже мы услышали, что Бобик пропал – его увели, и мы с мамой очень этим огорчились.

Мы недолго оставались на хуторе. На лошадях нас отвезли на железнодорожную станцию Аркадак, до нее было всего верст пять.

Ехали мы до Москвы с пересадкой на станции Ртищево, которая была узловой в то время. Остановились у родственницы Варвары Георгиевны Катинной. Муж ее служил начальником тяги на этой станции. Запомнилась мне их большая квартира на втором этаже невысокого домика, очень светлая, с чистыми крашеными полами. Нам и постелили тогда прямо на полу в зале.

Много позже Варвара Георгиевна, которую я по-родственному называла тетя Варя, приезжала в Москву и останавливалась у нас. Устраивали мы ее с еще меньшим комфортом – по-иному не могли, так как сами ютились в одной комнате.

Тетя Варя приобщила меня к опере, взяв с собой в Большой театр на «Пиковую даму». Блистающие позолотой ярусы и балконы, красный бархат лож и партера, яркий свет огромной люстры под потолком – все это, впервые увиденное, меня ошеломило, а музыка Чайковского и прекрасное пение преисполнили восторгом. Не помню, к сожалению, имена тогдашних исполнителей главных партий в этой опере. Знаю, что в то время на сцене Большого театра пели такие знаменитости, как Собинов и Нежданова. Мне позже посчастливилось услышать их в опере Вагнера «Лоэнгрин», но великие певцы к тому времени уже имели солидный возраст и не менее солидную комплекцию, поэтому, на взгляд смешливой девчонки, какой я тогда была, выглядели довольно забавно, если не сказать смешно. В сцене любовного объяснения Лоэнгрин со своей возлюбленной Эльзой они не могли приблизиться вплотную, чтобы обнять друг друга, – полнота держала обоих на почтительном расстоянии. И я едва удержалась, чтобы не прыснуть в кулак. Но голоса певцов оставались по-прежнему божественными.

Последний раз тетю Варю я видела в начале 1942 года. Стояла суровая военная зима. Я с мужем находилась тогда в городе Энгельсе в эвакуации. А оттуда до Саратова рукой подать, стоило лишь по льду перейти замерзшую Волгу. И однажды мы с мужем отправились проведать тетю Варю, которая тогда жила в Саратове. Не без труда нашли ее дом, поднялись по плохо освещенной лестнице. Нащупав кнопку звонка, позвонили. Дверь открыла соседка по коммуналке и провела нас в комнату, где жила тетя Варя. В комнате царил полумрак, было холодно, как в ледяной пещере, – в военные годы из-за дефицита угля жилые дома практически не отапливались. Тетя Варя сидела в глубоком старинном кресле, закутанная с ног до головы, чтобы хоть как-то согреться. Она довольно отрешенно отреагировала на наш визит, хотя, по-видимому, все же была им обрадована. При взгляде на эту дряхлую, скукожившуюся в кресле женщину я невольно подумала: «Боже мой! Да это же Пиковая дама!» Да, Пиковая дама времен военного лихолетья.

Возвращаясь к моему рассказу. В Ртищеве мы с мамой с трудом втиснулись в поезд, следовавший в Москву. Это был товарняк, перевозивший тогда не грузы, а пассажиров. Вагоны были набиты до отказа мешками, корзинами (благородных чемоданов не водилось) и их хозя-

евами. Такой поезд называли тогда «максимом» – мне представляется, что по ассоциации с писательским псевдонимом Максим Горький, где последнее слово содержит смысл «горемыка». И впрямь: это были поезда для горемык. Ползли они с черепашьей скоростью, часами стояли на каждой станции, на каждом полустанке. Пассажиры с котелками и чайниками бегали туда-сюда за кипятком.

До Москвы мы тащились несколько дней, что меня, впрочем, нисколько не огорчало. Я сидела довольно удобно на груде вещей, почти под самым потолком, и через верхнее окошечко, какое бывает в товарных вагонах, глазела на пробежавшие мимо поля, леса, деревни. Если же мне вдруг приспичивало по малой нужде, то меня поднимали на руках и держали перед распахнутой дверью вагона, и я, ничуть не смущаясь, преспокойно пускала фонтаны. Так, впрочем, поступали и взрослые. А что поделаешь, коли в товарных вагонах туалетов не водится? Однако, как видите, из любого каверзного положения всегда находится выход. Путешествие в таких условиях наверняка утомляло маму, но она не жаловалась. А что касается меня, то мне тем более все было нипочем. Детский возраст!

Приехали мы в Москву пасмурным сентябрьским днем. Вышли на площадь перед Павелецким вокзалом, и нас оглушили шум и суэта огромного города. Извозчик (никаких такси тогда не было) был нам не по карману, и мама наняла мужичка с ручной тележкой. Погрузили нашу кладь, усадили меня на нее, а мама «петушком» затрусила позади. До будущего нашего пристанища было не так уж далеко: надо было попасть к Красным воротам, а оттуда – на Ново-Басманную улицу<sup>18</sup>, в 1-й Басманный переулок.

По лестнице, но не приставной, какую я рисовала в своем воображении, а обычной для города, мы поднялись на четвертый этаж дома № 6 в квартиру, где мне предстояло прожить лет семь, а в самом доме – около тридцати лет.

Нас встретила двоюродная сестра мамы Софья Николаевна Дьякова. Приземистая полноватая старушка с мясистым в фиолетовых склеротических прожилках носом, показавшимся мне похожим на свеклу, – моя тетушка мне сразу не понравилась. Потом я ее даже побаивалась, уж очень она была сухой, неласковой со мной. Постоянно корила за непоседливость: «У Лизы словно шило в одном месте! Ни минуты на месте не посидит». Действительно, я была живчик, непоседа. Проникнуться любовью к тетке я так и не смогла и старалась поменьше вертеться у нее перед глазами.

Младший сын Софьи Николаевны занимал какую-то должность в НКПС, а старший, Константин Васильевич, с черной бородкой, в пенсне, был врачом-диетологом, как и его жена. Говорили, что они работали в Кремле. Лет через семьдесят после описываемых событий мне попала книга «Тайный советник вождя», где рассказывалось о подозрительности Сталина: «Пищу, в том числе воду, принимал с различными осторожностями. Приготовленные блюда обязательно отведывал повар, его помощники – в присутствии охраны и специалиста по ядам доктора Дьякова»<sup>19</sup>. При чтении этих строк сразу в памяти всплыло: «Дьяков – да ведь это же наш родственник, которого я видела в детстве!»

Кстати, такая система предосторожностей, видимо, была скопирована в КНР. У Мао Цзэ-дуна тоже пробовали пищу повара и врачи. Этим делом занималась сестра моей китайской подруги Ани, Чжао Сюнь (о ней позже).

А в конце 20-х годов волею случая в Кремль попала еще одна наша – студенковская Марфуша, прежде готовившая обеды на «белой кухне». Управлять государством, как обещал кухаркам Ленин, ей не дали, но она теперь заправляла на кухне у Клина Ворошилова. Готовила она великолепно! Иногда по старой памяти навещала нас с мамой и Лену Радчевскую, делилась рецептами.

---

<sup>18</sup> Так в обиходе называли Новую Басманную улицу.

<sup>19</sup> Успенский В. Тайный советник вождя. М.: Крымский мост-9Д, 2000.

Перед мамой первым делом встал вполне житейский вопрос: на какие средства нам существовать? И она занялась, как теперь сказали бы, «челночным» промыслом – мелкой безобидной спекуляцией. Пришлось для этого «химичить»: на карточку, которая выдавалась сыну Софьи Николаевны по месту работы для бесплатного проезда по железной дороге, наклеивалась фотография моей мамы. По этой «провизии», как ее называли, мама вместе с компаньонкой, соседкой по квартире Марией Ивановной Ремизовой, ездила в небольшие городки типа Понырей за яблоками. Отлучались они ненадолго, дня на два, на три, возвращаясь с корзинами пахучих антоновских яблок. Выручка от продаж была невелика, но маленький навар все же был. Благодаря корзине таких вот крупных, с желтым наливом яблок, преподнесенных нужному человеку, нам дали освободившуюся в той же квартире восьмиметровую комнатку. И мы, и наши родственники вздохнули с облегчением, когда расселились.

До революции этот дом № 6 в 1-м Басманном переулке, с эркером-фонарем посередине, постройки 1914 года (можно сказать, что дом – мой ровесник), населяли обеспеченные люди – инженеры, врачи, адвокаты. Квартиры были барские, большие, с комнатами для прислуги. В одну из таких комнаток мы с мамой и водворились. К тому времени квартира, как и все другие в доме, уже превратилась в коммунальную: в ней обитали четыре семьи, наша стала пятой. Позднее, году в 1927, мы переехали на два этажа ниже – в квартиру № 4. Здесь народу было еще больше, но и комната досталась нам попросторнее. Соседи по квартире были в основном люди интеллигентные – кто купеческого (как Ивановы, жившие через стенку), а кто и дворянского происхождения. В каждой комнате по семье – всего человек тридцать. Но жили дружно, проблемы появились позже, когда начали подселять рабочих, недавно приехавших из деревни.

Только одна квартира сохранила свой прежний барский облик: в ней жила семья Лолейта Артура Фердинандовича, известного строителя-архитектора, одним из первых применившего в российской практике железобетонные конструкции. Лолейт, продолжавший работать при Советской власти, находился на положении высококвалифицированного спеца. Он получал хороший оклад – две с лишним тысячи рублей, для второй половины 20-х годов это была солидная сумма. Квартира Лолейтов не подлежала уплотнению. У них имелась даже прислуга, рыжеволосая веснушчатая девушка по имени Катя. Запомнилась она мне, наверное, потому что наличие прислуги в ту эпоху само по себе стало уже уникальным явлением.

Позже, уже подростком, я стала часто бывать в этой семье, так как подружилась с Иррой, младшей дочерью профессора. Мама ее благоволила ко мне. Меня нередко сажали за огромный, напоминавший мне студенковский стол и угощали всякими вкусностями. Чувствовала я себя очень стесненно и выглядела, наверное, неуклюжей, неловкой. Не зная, как подступиться к тому или иному блюду, я окончательно терялась.

Ира часто подходила к пианино и играла для меня Баха, Шопена, Шуберта, Грига. Слушала я с наслаждением. Все дочери в этой семье, а их было пять, по традиции старых русских интеллигентных семей играли на фортепиано или пели. Устраивались у Лолейтов и любительские музыкальные вечера. Ира приглашала меня, и я, сидя в укромном уголке, с замиранием сердца слушала игру профессиональных пианистов – их друзей. Так во мне пробуждался интерес к музыке. Мне очень хотелось учиться играть на пианино, но у нас его не было и быть не могло. Иметь дома этот инструмент долгое время оставалось моей заветной мечтой, это желание удалось осуществить только в Пекине.

В гостиной у Лолейтов, помню, висела в позолоченной раме огромная картина: на ней была изображена Богородица с младенцем Иисусом на руках. Впервые я увидела такое великолепное произведение. До этого мне приходилось видеть только грубо намалеванные маслом дешевые лубочные картинки, какие украшали и нашу комнатку, и я с удовольствием созерцала одну из них: зимняя ночь, одинокая избушка в лесу, в небе висит круглая, как дыня, луна. Мне очень нравилась эта незатейливая картинка. А тут шедевр итальянского художника Рафаэля «Сикстинская мадонна», как мне объяснила Ира. Правда, это была всего лишь копия,

но превосходно выполненная, в чем я могла убедиться много позже, когда увидела в Дрездене, в галерее Цвингер, ее оригинал. В свое время семье Лолейт предлагали продать эту картину, давали хорошие деньги, но они отказались.

Дружба Иры со мной носила несколько покровительственный характер, ведь разница в возрасте у нас составляла целых пять лет. Но это не самое главное – просто Ира в силу своего характера любила опекать младших. Она водила в кино меня и других ребяташек, тратила на нас свои гривенники и двугривенные. В целях экономии мы старались купить билеты подешевле, не дороже десяти-пятнадцати копеек, и ради этого выстаивали длинные очереди. Ходили мы чаще всего в кинотеатр «Ривьера» у Красных ворот. И по сей день за высоким глухим забором стоит этот особняк, обретший, по-видимому, новое назначение. Бывали нередко и в клубе при молочной фабрике Чичкина, что совсем уж близко от нашего дома. Там и за пятак можно было посмотреть кино. На экранах в то время шли картины и советского производства, и иностранные. Остались в памяти названия: «Дворец и крепость», «Степан Халтурин», «Поручик Киж», поставленный по произведению Ю. Тынянова, а также фильм «Медвежья свадьба» с красавицей актрисой Малиновской и еще картина «Мусульманка», показавшаяся мне весьма экзотической. В ней рассказывалось о жизни совсем незнакомой – о женщинах Средней Азии, обретавших свободу и снимавших паранджу. Любили мы, девчонки и мальчишки тех лет, смотреть на голливудских актеров, таких, как Дуглас Фэрбенкс, скажем, в трюковом фильме «Багдадский вор» и в картине «Робин Гуд» – в роли благородного разбойника. Нравилась нам также очень известная тогда американская актриса Мэри Пикфорд, игравшая, несмотря на свой далеко уже не юный возраст, молоденьких красавиц в белокурых локонах и пышных коротеньких юбочках. Веселый и очень спортивный Гарри Пиль, вытворявший немыслимые трюки (каскадеры тогда не водились), покорял наши юные сердца. С совсем другим уже чувством смотрели мы романтические немецкие фильмы: «Нибелунгов» и «Индийскую гробницу» с актером Конрадом Вейтом. «Великий немой» в те годы еще молчал: картины шли с титрами под аккомпанемент фортепиано, на котором играл тапер, воспроизводивший в музыке все, что происходило на экране: лирические мелодии сменялись бравурными, гремели победные марши или тихо лилась печальная, скорбная музыка.

Эпоха «великого немого» закончилась в Советском Союзе в начале 30-х годов. Помню, как я со смешанным чувством удивления и восторга смотрела «Путевку в жизнь». С экрана звучала живая человеческая речь! Это больше всего поражало.

Но кадры оставались черно-белыми, краски на экране заиграли несколько позднее.

В начале 30-х годов профессор Лолейт трагически погиб – его зарезало электричкой<sup>20</sup>. Причина гибели так и не была достоверно установлена. Со смертью отца начался распад этой семьи – восемь его детей разъехались кто куда и стали жить обособленно.

В доме № 6, кроме Лолейта, тогда обитал еще один «буржуазный спец». До революции это был богатый человек – владелец шелкоткацкой фабрики, которую у него, естественно, конфисковали. Но так как он был знатоком своего дела, то нашли возможным его использовать по работе и выделили для жительства целый полуподвальный этаж вместо прежней квартиры. Время от времени этот человек выезжал даже в заграничные командировки, причем вместе с супругой. Запомнилось мне это, потому что Щенковы (такой была фамилия этой супружеской пары) на время своих отлучек в Италию или куда-то еще просили мою маму присмотреть за квартирой. Для мамы этот приработок был весьма кстати.

В доме жил еще один бывший фабрикант по фамилии Красовский. И тоже в полуподвальной квартире, тогда как на верхних этажах, во всех других квартирах, обитали семьи попроще и победнее – пролетариат. После революции верхи и низы поменялись местами. Хорошо помню, как этот красивый, далеко не старый человек регулярно выходил из своего полуподвала и выво-

---

<sup>20</sup> Официальная версия.

дил прогуливать двух великолепных собак – рыжего ирландского сеттера и белого в черных крупных пятнах сеттера-ловерака. Собаки были красавцы, под стать хозяину. В семье Красовских было двое детей: дочь и сын. В конце 20-х годов Красовские через дочь породнились с семейством Лолейт. Но дочь вскоре умерла при родах, не оставив в живых и ребенка. В 30-е годы все эти люди куда-то исчезли, выпали из поля моего зрения, а может быть, отправились в «места не столь отдаленные».

После водворения в коммунальной квартире я обзавелась и другими друзьями, кроме Иры Лолейт. С двумя девочками-сестрами, Лидой и Ией Ремизовыми, играла в тихие игры с куклами. Две смежные комнаты, в которых жила семья Ремизовых, казались мне очень просторными после нашей комнатухи. Мы располагались на полу перед едва-едва теплившейся батареей. Я приносила свои любимые игрушки, еще студенческие: облезлого ослика на колесиках, корову из папье-маше с обломанным рогом, целлулоидную куклу-голышку и маленького фарфорового мальчика с черными волосиками и щечками, красными, как яблочки. Новых игрушек ни у кого из нас не было. Даже не знаю, существовали ли они вообще в продаже в ту суровую пору.

А вот с двумя другими ребятами – Мусей и Витей Маргелевич, младше меня по возрасту соответственно на два и три года, мы играли в шумные игры. Прыгали на широкой тахте с валиками, но без спинки. Наряжались в одежду их мамы, когда ее не было дома, изображая персонажей из немецкого фильма «Нибелунги». Маргелевичи были по тем понятиям семьей обеспеченной, они занимали две лучшие комнаты в квартире, служившие прежним хозяевам залом и столовой. Глава семьи занимал пост главного комиссара на Казанской железной дороге и ездил на автомобиле, что было неслыханным шиком для того времени. Вдобавок у них в комнате был установлен телефон. Когда он звонил, нарушая наши игры, меня так и подмывало снять трубку и поговорить по этому необыкновенному аппарату. И вот как-то я поддалась соблазну. В ответ на звонок взяла трубку, сказала: «Алло!» – Голос в трубке: «Кто говорит?» – Я брякнула не раздумывая: «Жена». – «Я тебе покажу жена! – загудел в трубке голос отца ребятшек. – Позови Анну Алексеевну сейчас же!» У меня душа в пятки ушла от страха, и стало ужасно стыдно за свою выходку.

Анна Алексеевна была в прошлом фабричной работницей, и даже став женой важного партийного работника, оставалась по-прежнему милой и сердечной женщиной. Она никогда не задавала нам головоломки за тот кавардак, который мы устраивали во время веселых забав, переворачивая все в комнате вверх дном. Но наряжалась Анна Алексеевна уже не по-пролетарски. Мне запомнились ее серьги в золотой оправе с крупными, переливающимися на свету камнями, видимо, аметистами. Занимали меня очень и стоявшие на подзеркальнике баночки с кремами, пудрой и румянами. У моей мамы ничего подобного не было. В конце недели семья Маргелевичей куда-то пропадала – ездил на какую-то загадочную для меня «дачу», а летом – на курорт. Помню, Муся рассказывала мне про Кавказ, про очень высокие горы, которые ей не понравились, что меня порядком удивило. Но это было значительно позже, когда мы обе уже ходили в школу: я – в обычную, она – в привилегированную. Муся там подружилась с Таней Литвиновой, отец которой был наркомом иностранных дел. Изредка Муся бывала у Литвиновых в загородном доме – за ней по такому поводу присылали автомобиль. Рассказы подружки я слушала с открытым от изумления ртом. Но в 30-е годы Мусяно благополучие рухнуло: отца арестовали, и он, старый большевик, вступивший в партию еще до 1917 года, сгинул бесследно. Репрессии тех лет прошли тяжелым катком и по этой семье.

\* \* \*

Из родных саратовских краев нас изгнал голод, но в 20-е годы и в Москве сгущался его страшный призрачный. Хлебный паек сократился до минимума: несколько сот граммов черного

хлеба в день – и все. Центральное отопление в домах не работало. Из форточек московских квартир торчали трубы железных печурок-«буржук», как их окрестили. И нашу комнатку обогревала такая печка, на ней мы готовили немудреную еду – подобие лепешек из картофельных очисток с отрубями, которые пеклись прямо на железном кругу «буржуйки», без всяких намеков на масло. На голодный желудок такие лепешки казались мне очень даже вкусными.

Но надо было добывать растопку для нашей прожорливой «буржуйки». Мама, прихватив с собой и меня, отправлялась с мешком на Казанскую железную дорогу, благо это было совсем близко, на поиски «топлива». Это, конечно, не разрешалось, поэтому мы с мамой пролезали на железнодорожные пути со стороны Ново-Рязанской улицы сквозь дыру в заборе и, воровато озираясь, торопливо подбирали щепки, валявшиеся после разгрузки вагонов, пугливо засовывали их в мешок. Таких воришек поневоле было много, и случалось, что сторожа шугали нас, отбирали мешки, и мы несолоно хлебавши убирались восвояси, шагали понуро домой, где нас ожидала остывшая холодная печка. В случае удачи, когда доводилось набрать щепок, они иногда оказывались такими сырыми, так не желали гореть, что наша «буржуйка» выражала протест и начинала изрыгать густой едкий дым, щипавший глаза. Но все-таки это было лучше, чем сидеть у мертвой печки с урчащими от голода желудками.

Мама к тому времени устроилась на пошивочную фабрику швеей-мотористкой. Уходила на работу рано, когда в зимнее время еще не рассветало, и возвращалась затемно. Оставляла, помню, мне на завтрак кусочек черного хлеба весом не более ста пятидесяти граммов и огрызок сахара-рафинада, если таковой имелся. Соседка Анна Алексеевна по доброте души меня подкармливала: принесет, бывало, белую французскую булочку, а то и кусок вкусного пирога с начинкой. Но это случалось не так уж часто.

К счастью, в Москве, жившей впроголодь, стали открываться бесплатные столовые для детей из малообеспеченных семей. Благотворительностью занималось Американское общество АРА (Американская администрация помощи во главе с Гербертом Гувером)<sup>21</sup>, которое действовало в Советской России в 1921–1923 годах и с помощью своих и местных волонтеров распространяло тысячи тонн продовольствия, медикаменты и одежду. Позднее, в сталинское время, деятельность АРА заклеямили как шпионскую. И сейчас иногда пишут, что эта организация занималась сбором сведений как военно-политического, так и экономического характера. Соответствовало это действительности или нет – не знаю, но думается, что помощь голодавшим, особенно в Поволжье, была добрым и своевременным делом.

Талоны на питание в столовых АРА выдавались через школы. Дали их и мне как ребенку из нуждающейся семьи. Ежедневно после уроков я стала ходить в такую вот американскую столовую. Помещалась она в большом особняке, конфискованном у богатого фабриканта, недалеко от Аптекарского переуллка. Мне было как раз по дороге от школы до дома. В полдень к этому особняку с чугунной оградой и воротами с затейливыми завитушками ручейками стекались дети со школьными сумками, пузатыми от засунутых в них мисок и ложек. В большом дворе вились, закручивались длинные очереди. Но мы их терпеливо выстаивали, ведь дома никого из нас не ждал обед. Подходим, глотая слюнки, к заветному раздаточному столу, и нам в миски накладывают фасоль в томатном соусе либо рисовую кашу, политую сверху какао, либо – что мне нравилось больше всего – просто наливают какао и в придачу дают свежую белую булочку. Меню, конечно, не отличалось разнообразием, но нам, оголодавшим детям, эти обеды казались просто божественными.

---

<sup>21</sup> АРА (ARA, American Relief Administration) – негосударственная организация США. Договор об оказании помощи России был подписан после письма Максима Горького председателю комиссии Герберту Гуверу (1921 год). Взаимодействие с АРА продолжалось до 1923 года.

Изредка через это общество АРА выдавались и детские вещи. Мне один раз посчастливилось получить кожаные ботинки – желтые, со шнуровкой и на толстой подошве. Таких ботинок у меня в жизни не было, и я очень ими гордилась.

Зимой тогда на ногах у всех школьников были валенки. Чтобы не грязнить чисто вымытый пол, мы, заходя в школу, снимали их и надевали сменную обувь, которую каждый день приносили с собой. Мама специально для этого сшила мне матерчатые тапочки. Когда же у меня появились щегольские американские ботинки, то я их стала брать с собой в школу. И вот однажды, вернувшись домой, я, к своему ужасу, не обнаружила в сумке одного ботинка. Потеряла! Это было такое несчастье, что я залилась горькими слезами. Побежала искать. Тщетно! Долго я потом переживала. Только к весне мама скопила деньги, и мы пошли на толкучку, которая, прекрасно помню, находилась на Земляном валу. Там мне купили новые ботинки, но, увы, радость моя была преждевременной: после первого же дождя подметки развалились, они оказались картонными. Нас ловко и нагло надули. Поистине, где тонко, там и рвется: в нашем бюджете снова зияла дыра.

С приходом нэпа мы стали лучше питаться. Мама ведь умела хозяйничать, готовить, и у нас на столе появились даже коекакие яства, например, жареный гусь на праздники. К этому времени мы с мамой жили уже в отдельной комнатке. В Москву перебрался из Студенки и брат Володя. По знакомству устроился курьером в «Сельхозсоюз» (была такая организация, объединявшая сельские кооперативы), потом его повысили до архивариуса, но далеко по службе он не продвинулся. Он всегда был человеком тихим, сдержанным и даже замкнутым. Много читал. Из своего скромного заработка выкраивал деньги, чтобы подписаться на журналы «Огонек», «Красная новь» или книг прикупить. На полке его этажерки блистало золотом корешков полное собрание сочинений Шиллера, изданное еще Брокгаузом и Эфроном. Меня же больше привлекали яркие обложки журнала «Мир приключений» и фотографии в «Огоньке». Все эти журналы Володя аккуратно отдавал переплетать и потом тоже ставил на полку.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.